

ФРАНЦ МЕРИНГ

*

**В БОРЬБЕ
С КЛАССОВОЙ
ЮСТИЦИЕЙ**



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

1.9.2.9

Ф. МЕРИНГ

★
Историческое общество

В БОРЬБЕ
С КЛАССОВОЙ ЮСТИЦИЕЙ

СБОРНИК СТАТЕЙ

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО
ПОД РЕДАКЦИЕЙ И С ПРЕДИСЛОВИЕМ
Я. РОЗАНОВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ☆ 1929 ☆ ЛЕНИНГРАД

Отпечатано в типографии Госиздата
„КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ“.
Москва, Пименовская ул., 16,
в количестве 3000 экз.
Главлит № А—20284
Гиз С—0 № 28294.
Зак. № 7056

4 л.

☆

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В дореволюционные годы Меринг известен был русскому читателю преимущественно как автор знаменитой 4-томной «Истории Германской социал-демократии», комментатор первых 2 томов «Литературного наследия» Маркса—Энгельса и «Легенды о Лессинге», к которой сначала в виде приложения была присоединена статья «Об историческом материализме», впоследствии неоднократно переиздававшаяся уже как отдельная брошюра, приобретшая заслуженную популярность среди широких читательских масс. Октябрьская революция, пробудившая глубочайший интерес к марксизму, не могла не выдвинуть вопрос о дальнейшем ознакомлении русского читателя с произведениями Меринга, одного из крупнейших представителей западно-европейской марксистской мысли, оставшегося до конца дней своих несгибаемым бойцом за интересы рабочего класса, за торжество пролетарской революции. И действительно, в наши дни стали появляться не только переиздания вышеназванных работ Меринга, но отдельные монографии и сборники других его работы до сих пор на русском языке еще не появлявшихся, как, напр., «К. Маркс», (Гиз, 1920; написана в 1918 г.), «Мировая литература и пролетариат» (Гиз, 1925), «На страже марксизма» (Гиз, 1927), «На философские и литературные темы» («Белтрестпечать», 1923) и ряд других статей, выходивших либо отдельными изданиями, как напр., «О теории и практике марксизма» («Основа», 1924), или же помещенных в общих марксистских сборниках, как, напр., «Марксизм и этика» (Гиз, Гиу, 1925, 2-е изд.), где помещена его знаменитая полемика о классовой этике.

Этими новыми работами, однако, не исчерпано богатое и чрезвычайно разнообразное литературное наследие Меринга. Это литературное наследие имеет для нас тем больший интерес, что Меринг счастливо сочетал в себе публициста и

ученого, глубоко овладевшего историко-материалистическим методом и с большим мастерством показавшего его теоретическую силу на анализе как проблем прошлого, так и жгучих вопросов текущего дня.

Из этого обширного и до сих пор еще не появлявшегося на русском языке литературного наследия Меринга мы выбрали те его статьи, которые посвящены судьбам права и суда в буржуазно-феодальном обществе. Статьи эти в течение ряда лет (1893—1911 гг.) печатались в «Neue-Zeit», теоретическом органе немецкой социал-демократии довоенной эпохи, и несомненно представляют глубокий интерес и для наших дней. Величайшая социологическая истина марксизма о том, что в классовом обществе право и суд не могут не быть орудиями классового господства была советской системой открыто провозглашена не только в качестве своей теоретической платформы, но и в качестве принципа практической деятельности. Это, конечно, не могло не вызвать ужаса негодования не только «ученых» мещан, никогда о марксизме и слышать не желавших, но и тех господ «социалистов», которые иногда не прочь сослаться на авторитет самого Маркса для оправдания своих предательских сделок с буржуазным миром во имя «мирного вращающегося» в социалистическое общество. Эти «социалистические» пошляки, любящие иногда щегольнуть радикальной фразой для замаскировки своего идейного убожества и прикрытия своих реальных темных дел, с особенным остервенением обрушиваются на пролетарско-классовые принципы советского суда, как будто бы эти принципы не являются практическим осуществлением теоретических заветов Маркса—Энгельса. Собранные в настоящем сборнике статьи Меринга, хоть и написанные по разным другим поводам, по своему содержанию как раз и представляют блестящий ответ современным буржуазно-социалистическим филистерам, распинающимся за «надклассовое правосудие», якобы царящее в современных «передовых демократиях».

Одна из характерных особенностей этих статей Меринга—это та публицистическая страстность, с которой их автор обрушивается на самые основы буржуазно-метафизической юридической идеологии, вскрывая ее лицемерную фальшь, завуалированную громкими фразами о свободе, равенстве и цивилизации. Революционно-марксистская трактовка затрону-

тых проблем разворачивается Мерингом в форме бичующего памфлета, и хотя конкретно в статьях речь идет о прусско-германской юстиции, но не трудно заметить, что под критические удары попадает все современное буржуазное правосудие, лишь на германской почве обремененное к тому же еще и некоторыми феодальными пережитками.

Коснемся вкратце содержания отдельных статей. Так, в первой статье Прусская юстиция Меринг рассеивает легенду о беспристрастности традиционной прусской юстиции, указывая, что имевшие место отдельные исключения являются лишь показателями верности общего правила, что в классовом обществе правосудие не может не носить классового характера, так как судебный аппарат и правовое регулирование используются господствующими классами против эксплуатируемых масс, правосознание которых все резче восстает против официального правосудия, теряющего в глазах трудящихся какой бы то ни было моральный авторитет. Этот авторитет, говорит далее Меринг, не удастся буржуазному суду поднять усилением карательных мероприятий. Имущие круги, в лице правительственных кругов, сложной системой различного рода воздействий, будь то каучуковые параграфы закона, подачки и прямые угрозы, небезуспешно стремятся превратить «юристов в предупредительных слуг деспотизма» по выражению Гельвеция. В статье Об одной процессуальной новелле Меринг говорит, что навряд ли трусливому рейхстагу удастся вывести прусскую юстицию из ее жалкого состояния, которого не может отрицать даже официозная «Preussische Jahrbücher», что сама немецкая буржуазия перед лицом растущего рабочего движения готова забыть даже о своих интересах и подобострастно броситься в объятия феодально-бюрократической своры, и что все ее громкие разговоры о «судебных реформах» на деле сведутся к попрошайничеству и торгу за те или иные требования, долженствующие устранить наиболее скандальные черты старого судебного порядка. Попутно Меринг напоминает, что даже Бисмарк,—впрочем, только в минуты откровенности,—вынужден был признать, что в классовом обществе и правосудие носит классовый характер.

Разоблачению фикций независимости суда в классовом обществе посвящена статья Рейхстаг и правосудие. Меринг вскрывает всю фальшь и лицемерие, нагроможденные

либеральными болтунами вокруг лозунга свободы в классовом государстве, и в нескольких словах, насыщенных едкой иронией, рассеивает школьную легенду о смелом мельнике, не пожелавшем уступить свою мельницу старому Фрицу и нашедшем твердую поддержку в судейской корпорации, якобы обнаружившей в себе достаточно гражданского мужества и не пожелавшей отказаться от своей независимости перед лицом высокой коронованной особы.

Иллюзорность судейской независимости раскрывается Мерингом и в статье О Прусской юстиции (написанной в 1911 г.). Возвращаясь снова к мысли о классовом характере современного буржуазного правосудия, Меринг иллюстрирует это положение фактами последнего времени, как, напр., приговором по знаменитому моабитскому процессу, дебатами в рейхстаге и т. д., и что, таким образом, меч правосудия господствующие классы пускают в ход исключительно для отстаивания своих классовых интересов; в особенности же судебные органы щедрны на всяческие скорпионы, когда заходит речь о потрясении священных основ существующего строя. Это выпячивание буржуазной физиономии современного суда влечет за собой потерю его авторитета в массах, что в свою очередь содействует скорейшей гибели и самого буржуазного общества.

Блестящий памфлет, в котором заклеено лицемерие современной буржуазной юстиции, представляет статья «*Si duo faciunt idem*»... Воспользовавшись ссылкой прусского министра юстиции Шенштедта на слова римского поэта Теренция «*Si duo faciunt idem*», которые Шенштедтом по невежеству были отнесены к незыблемым положениям юриспруденции и приведены для доказательства того, что это якобы древнее юридическое правило заслуживает внимания, так как «требуется истолкования чужих мыслей по их тенденции», Меринг говорит, что если г. министр для борьбы с рабочими движением вынужден был превратить автора комедий в ученого юриста, то революционные пролетарии давно уже в современной буржуазной юстиции видят одну сплошную комедию.

Ряд статей, а именно: О Гражданском уложении, В защиту священных прав зайца, Буржуазно-пролетарское является откликами на дебаты, которые велись в рейхстаге во время обсуждения проекта нового Гражданского уложения.

В немецкой буржуазной прессе с созданием нового Гражданского уложения связывалось представление о новой культурной эре, что в этой новой хартии священных прав собственности якобы должны восторжествовать величайшие общечеловеческие идеалы гуманности и цивилизации. Увы, этот долго вынашивавшийся плод буржуазно-юнкерского сотрудничества оказался лишь классовым недоноском, продуктом гнилого компромисса трусливой и неспособной к решительной борьбе даже за свои интересы немецкой буржуазии и прусского юнкерства, вынужденного поступиться частью своих классовых привилегий во имя сохранения более серьезных своих позиций.

Меринг прежде всего подчеркивает, что было бы чистой утопией рассчитывать на то, что законопроект может быть приемлем для всех классов, ибо по существу он прежде всего имеет в виду интересы крупной буржуазии. Попутно Меринг характеризует отношения различных партий к этому законопроекту, вскрывая половинчатость и дряблость буржуазных партий, готовых в любую минуту ринуться единым фронтом с реакционным юнкерством против каких бы то ни было домоганий трудящихся масс. Особенно это вывилось в таком вопросе, как изъятие из проекта пункта о вознаграждении за ущерб, причиненный зайцами крестьянским огородам и полям; таким образом, зайцы получили возможность обжираться за счет крестьян, а господа помещики будут и впредь иметь возможность безнаказанно позабавиться охотой на сытых зайцев за счет терпящей убыток крестьянской массы. Таким образом, при попустительстве буржуазных партий под громким лозунгом защиты заячьих прав, сохранены архаические остатки феодального права.

Эту готовность компромисса с феодализмом со стороны немецкой буржуазии Меринг объясняет тем, что немецкий рабочий все громче и убедительнее дает о себе знать, как о грядущем могильщике всего буржуазного строя; отсюда Меринг вполне правильно замечает, что ряд правовых требований рабочего класса, не выходящих за границы даже существующего строя, встречает все же решительный отпор со стороны перепуганных буржуазных реформаторов. Рядом ярких иллюстраций Меринг показывает беспомощность и кретинизм буржуазного парламентаризма, на фоне которых одни только представители рабочего класса не занимались

торгашеской дипломатией, смело и решительно голосовав против законопроекта в целом, хотя в процессе прений пролетарские представители, где могли, старались изгнать из него особенно одиозные параграфы, как, напр., пункт о возрастном цензе.

Сопоставляя Гражданское уложение с Кодексом Наполеона, Меринг заключает, что несомненно Кодекс отличается большим прогрессивным содержанием, ибо над ним все же витает дух французской революционной буржуазии, в то время как Уложение—недоброкачественный продукт робкой немецкой буржуазии, шедшей на поводу у прусской феодальной бюрократии.

И все же эти дебаты имели громадное значение, так как они лишний раз вскрыли классовые пружины современного парламентского правотворчества.

Несколько особняком стоят последние две статьи: Юстиция и политика и О праве на революцию.

В первой Меринг разоблачает дешевое моральное негодование рейхстага по поводу преступных деяний некоего Петерса, зарвавшегося героя колониальной политики, которым буржуазный рейхстаг решил пожертвовать во имя сохранения в неприкосновенности всей системы, порождающей гг. Петерсов. Яркими красками рисует Меринг эволюцию грабежа, совершаемого господствующими классами, облакаемого то в грубую форму в эпоху первоначального накопления, то в завуалированной форме, под эгидой буржуазной законности. Меринг снова подчеркивает процесс подчинения юстиции классовым интересам командующих классов, приведя в качестве иллюстрации фиктивности независимости судебной корпорации случай со стариком судьей Грольманом, поплатившимся потерей должности за то, что осмелился отменить обвинительный приговор первой инстанции, вынесенный Иоганну Якоби, привлеченному к суду по обвинению в государственной измене.

И, наконец, в последней статье—О праве на революцию—Меринг иронизирует над имперским канцлером графом Бюловым, который по инициативе Берлинского философского общества принял на себя великую миссию по постановке памятника Фихте. Рядом выдержек из произведений Фихте Меринг показывает, какая чудовищная пропасть лежит между Бюловым, верным стражем буржуазно-феодальной монархии,

не допускающим и мысли о праве на революцию, считающим Фихте прусским патриотом в духе «С богом, за короля и отечество», и действительным Фихте, страстно гromившим лицемерие и классовый эгоизм имущих классов, господство которых должно быть низвергнуто. Меринг воспроизводит ряд обвинений, с которыми Фихте обрушивался на деморализующую и антикультурную роль монархии, ее внутреннюю и внешнюю политику, бардом которой как раз и является граф Бюлов, и что, таким образом, по иронии судьбы, Фихте, развивши философски право народа на революцию, оказался под духовным покровительством одного из злейших противников этого единственного «естественного» права народа.

Таково в общих чертах содержание предлагаемого вниманию читателей сборника. Нам думается, что в деле дальнейшей пропаганды наших революционно-марксистских воззрений на проблемы права эти статьи Меринга несомненно сыграют свою положительную роль.

Я. Розанов.

ПРУССКАЯ ЮСТИЦИЯ.

Среди признаков непредотвратимости судьбы, ожидающей буржуазное общество, упадок правосудия занимает отнюдь не последнее место. Само это общество тщетно пытается обманывать себя относительно угрожающей ему опасности путем вынесения суровых приговоров своим критикам. Некоторые из этих приговоров недавно возбудили вполне основательно внимание рабочих кругов, которые в этом отношении не особенно избалованы. Сюда относится присуждение к восьми месяцам тюрьмы редактора бреславльской «Volks Wacht» за оскорбление председателя земского суда Шмидта. Обвиняемый в состоянии вполне понятного возбуждения говорил о «клевете» и «грязных инсинуациях», выразившихся в том, что г. Шмидт в качестве председательствующего на одном процессе заявил, что ему «известно», будто социал-демократическая партия проповедует учение, согласно которому при определенных обстоятельствах допускается подкрепить ложной присягой неправильные показания в пользу товарища. В процессе, возбужденном против редактора «Volks Wacht», выяснилось, что Шмидту это стало «известно» из ложных утверждений одной лживой буржуазной газеты. Было признано также, что обвиняемый в качестве редактора социал-демократической партийной газеты действовал в интересах восстановления истины. Вместе с тем, он был присужден к тяжелому наказанию—8 месяцев тюрьмы—за то, что превысил пределы, необходимые для защиты истины. Нет необходимости указывать, какое впечатление приговор произвел на правосознание рабочего класса. Чем дальше, тем чаще повторяются подобного рода случаи. Чем резче противоречие между официальным правосудием и правосознанием масс, тем усерднее судебные органы классового государства стремятся защищать свой авторитет и свое достоинство наиболее крайними мерами. Субъективно их за это

нельзя осуждать; мы не сомневаемся в том, что они действуют добросовестно. Чем больше они убеждены в том, что их правосудие незапятнано и не может возбудить сомнений, тем более склонны они обрушиться на тех, кто, по их мнению, злостно сомневается в этих качествах. Но объективно в этом отражается то ослепление, которое свойственно классам, сходящим с исторической сцены, та моральная близорукость, которую Лотар Бухер якобы порицал, как наиболее опасный недостаток своего друга и учителя Бисмарка. В те времена, когда юстиция еще черпала свои приговоры в правосознании народных масс, осужденному позволялось порицать приговор. Ныне, когда оскорбленный до глубины души не имеет права безнаказанно порицать фактические неверные утверждения судьи, мы имеем доказательства, что юстиция находится в резком противоречии с правосознанием масс. Доказательство это тем убедительнее, чем сильнее правосознание народа клеймит приговоры, основанные на официальном праве.

Этот процесс имеет тем более роковое значение у нас, так как легенда о старо-прусской юстиции принадлежит к наиболее несостоятельным из всех исторических легенд. Лойяльные историки и политики утверждают, будто Пруссия была и в настоящее время еще является классической страной правосудия, и даже свободомыслящие самым невероятным образом содействовали распространению этих басен, начиная с того времени, когда уездные судьи проявляли оппозиционные наклонности. В действительности историческое развитие прусской юстиции было совершенно иным. Мы не будем здесь возвращаться ко временам юстиции Фридриха Вильгельма I, «юстиции на старый лад», как называл ее сын его, Фридрих II, т. е. юстиции, помогавшей только богатым, полупродажной, полунедалекой, которая судейские должности распределяла отчасти в зависимости от размера взносов в рекрутскую кассу, отчасти по принципу, согласно которому люди «с головой» должны служить в администрации, а «дурачье» в судебном ведомстве. Нужно сознаться, что Фридрих II пытался вычистить эти авгиевы конюшни, что он мечтал о суде «правильном и беспристрастном, скором и солидарном». Тем не менее, остается басней, будто он сделал прусскую юстицию образцом для всего цивилизованного мира. Как раз тот вывод, который он делал из своих благожелательных

намерений, вывод, который с точки зрения просвещенного деспотизма был вполне правилен, именно—что «он должен вмешиваться самолично», что он должен стоять на посту и принимать меры против попыток злоупотреблений,—и привел к той королевско-прусской кабинетной юстиции, от последствий которой мы страдаем еще до настоящего времени.

Нельзя упрекать короля в том, что он оставил все по-прежнему в суде первой инстанции патримониальной юстиции, в суде юнкеров над крестьянами, в котором, по пословице того времени, «палка заменяла ученость». При социальной силе юнкерства он ничего не мог изменить в этом отношении при всей своей доброй воле. Но и в высших судебных инстанциях он не позаботился о независимой юстиции. Он всегда отвергал положение, согласно которому судья может быть смещен не королевским распоряжением, а лишь в силу судебного приговора. Так, например, Коццен, правая рука короля в делах юстиции, однажды уволил всех членов высшего суда, знаменитого по легенде о деле мельника из Сан-Суси,—за исключением двух советников,—а между тем, среди них были люди, которые в течение десятилетий безупречно исполняли свой долг. Все это произошло без всякого приговора, даже без всякого обвинения,—только для того, чтобы назначить на освободившиеся должности своих людей. Еще хуже, чем с судьями, обходились с адвокатами. Они подвергались еще жестокому преследованию при отце Фридриха; неудивительно, что среди них находилось много сомнительных субъектов. Вряд ли, однако, содействовало нравственному оздоровлению этого сословия то, что им всегда угрожала возможность увольнения, что считалось лучшим средством их исправления. Если не было других причин, то время от времени некоторые увольнялись в назидание другим. Так, например, в 1775 г. таким образом было уволено 7 человек. Точно так же обстоит дело со всеми остальными «реформами» Фридриха в области юстиции. Как превозносят великого короля авторы сочинений по истории Пруссии за то, что он отменил пытку. Они только обыкновенно забывают прибавить, что приэтом чорт был заменен дьяволом. Пытка, которая могла применяться лишь по формальному постановлению суда, была отменена, но зато любому следственному судье, без всякого полномочия со стороны высших органов, было предоставлено

право избивать арестованных, для того чтобы добиться признания, что приводило нередко к ужасным судебным убийствам.

Так и было в действительности с пресловутыми основами прусской юстиции. На этих основах она развивалась и в дальнейшем. Вплоть до XIX столетия в Пруссии господствовала неограниченная кабинетная юстиция. Стоит только вспомнить возмутительные преследования «демагогов». Обыск, произведенный у старика Арндта в Бонне, не обнаружил ничего, указывающего на государственное преступление, но были найдены некоторые заметки и среди них запись: «Когда расстреливают проповедника, то это предвещает конец». Королевско-прусская официальная газета от 20 марта 1820 г. напечатала эти заметки, как извлечения из документов по делу о заговоре против государя. Газета писала тоном возмущения: «Насилием и убийствами злодеи хотят добиться своих целей». Арндт тотчас же доказал, что эти отрывочные заметки суть не что иное как копии с заметок, сделанных королем на проекте вооружения народа против Наполеона. При таком положении перепуганные прусские судьи вынуждены были отступить, но король при посредстве кабинетной юстиции распорядился уволить Арндта с занимаемой им должности. Этот же король Фридрих Вильгельм «Справедливый», как называют его прусские историки, имел обыкновение прекращать до суда обвинения в уголовных преступлениях, возбужденных против высокопоставленных лиц или тех, которые сумели добыть «хорошие» рекомендации. Историк Эберти, некогда профессор в Бреславле, рассказывает в своей «Истории прусского государства», что он видел целый ряд таких дел, когда в тридцатых годах работал в Берлинском суде.

Таким образом с «почтенными традициями старо-прусского судейского сословия» дело обстоит не так благополучно. Нельзя отрицать, что и в эпоху абсолютизма существовали прусские судьи, умевшие оказывать сопротивление давлению деспотизма. Но это были единичные лица, и чем больше шума возбуждают по поводу них, тем очевиднее, что это были исключения, подтверждающие общее правило. Буржуазные же классы в области юстиции, как и в других областях общественной жизни, не умели дать что-либо цельное. Несмотря на формальные гарантии судебной независимости, да-

ваемые законом и конституцией, прусская, равно как и германская юстиция являются в гораздо большей мере органом правительственной власти, существующей в данный момент, чем это имело место в эпоху абсолютизма. Наше уголовное право наказывает призыв к неповиновению законам и распоряжениям властей, наказывает сопротивление властям независимо от того, законны ли их действия и распоряжения и входят ли они в их компетенцию; наказывает за угрозы общественному спокойствию, за возбуждение одной части населения против другой,—все это еще было неизвестно прусскому земскому праву. Уголовное право защищает не только лиц, занимающих официальные должности, от оскорблений и клеветы; оно защищает и государственные учреждения и распоряжения властей от злонамеренной критики и возбуждения к ним неуважения. При строгости практики (в которой нам часто приходилось убеждаться) почти невозможна критика действий правительства или указание, что эти действия противоречат закону, что прежде дозволялось.

Таким путем наша юстиция вовлечена в политическую и социальную борьбу. Она должна защищать правительство путем применения каучуковых параграфов закона. Один из наших лучших судей, Карл Тьестен, выразился об оплачиваемом судейском сословии: политическая или социальная борьба деморализует чиновников, которые стали носителями политической власти, не обладая материальной независимостью. Имеет ли место намеренное злостное влияние правительства, как при Бисмарке, влияет ли всемогущий министр на судей то путем угроз, то путем задабривания—правосудию всегда угрожает опасность, о которой в свое время говорил Гельвеций, считавший, что юристы всегда являются предупредительными слугами деспотизма; если бы в распоряжении чумы имелись ордена и пенсии, они доказали бы, что чума существует милостью бога и во имя права, и не повиноваться ей—значит быть изменником.

Это намеренное давление на юстицию при нынешнем курсе прекратилось. Нынешний канцлер не вносит более карательных проектов, а отмена закона против социалистов кладет конец деморализации судей. Но по существу дела в прусской юстиции ничего не изменилось. Чем больше требований предъявляет к ней лихорадочно развивающийся капитализм, тем больше она отказывается удовлетворять их. Личные чувства

председателя Суда Браузеветтера нисколько не вредят анти-семитизму, не говоря о том, что личные чувства Шмидта не убьют социализма.

Никто, конечно, не должен сомневаться, что руководителями прусской юстиции являлись оба названных субъекта. И это вполне в духе прусской юстиции, чтобы критик г. Шмидта отсиживался 8 месяцев в тюрьме за то, что он так плохо понял этот дух.



SI DUO FACIUNT IDEM...

Нельзя сказать ничего положительного или отрицательного о дне до наступления вечера. Когда мы неделю тому назад говорили о ходе бюджетных дебатов в рейхстаге, четвертый и последний день их еще не наступил: между тем этот день ознаменовался арьергардным боем, который показал нам господствующую реакцию в состоянии возбуждения, в то время как дебаты первых трех дней показали нам ее в состоянии депрессии.

Особенно заслуживает быть сохраненным для потомства признание прусского министра юстиции, которое принадлежит к числу делающих эпоху. Год тому назад господин фон-Келлер обессмертил себя тем, что в дебатах об уголовном законе против политической агитации в качестве доказательства необходимости исключительного закона привел новеллу Готфрида Келлера, не зная кто ее автор. Гогенлоэ-Келлер-Шенштедт объявил, что не может больше управлять, не может спасти неотчуждаемые блага отечества, если нельзя будет полицейскими мерами уничтожить невинного швейцарского новеллиста. После этого г. Келлер как министр перестал существовать, но в интервью с одним буржуазным собеседником заявил, что в прусском министерстве есть еще человек, достойный его, человек, который в состоянии сохранить отечество, и этот человек—министр юстиции Шенштедт.

Мы вполне понимаем, что г. Шенштедт переживал чувство гордости и радости, читая отзыв ушедшего друга. Мы вполне понимаем, что его законное честолюбие побуждает его стремиться не только стать в уровень с г. Келлером, но и превзойти его. Какая слава воссияла бы вокруг его имени, если бы он один сделал больше того, что в состоянии был он сделать совместно с г. Келлером. Задача была не из легких, но г. Шенштедт блестяще разрешил ее. Он сказал себе: «Что ужасного в том, что юнкер из Померании ничего не

знает о Готфриде Келлере. Старый Фриц не знал ничего о Гете, и это не помешало ему оставаться старым Фрицом. Старые, славные прусские традиции должны быть вновь золочены. Нужно доказать всему удивленному миру, что новейший курс в состоянии сделать больше, чем все прежние курсы, взятые вместе. Что ужасного в том, что старый Фриц ничего не знал о Гете, а Келлер ничего не знает о Келлере. Разве королевский прусский спаситель отечества должен много знать о всяком поэтическом сбросе. Нет, мы должны собрать все силы, опередить на две тысячи лет толпу и показать могущественную силу курса зигзагов».

Так думал г. Шенштедт и в таком духе он высказался на заседании рейхстага 12 декабря: «Господа! Старое правило правосудия и правоправления гласит: «*Si duo faciunt idem, non est idem*». Если двое совершают одно и то же, то это не есть одно и то же. В устах одного человека это может иметь совершенно иной смысл, чем в устах другого, и не исключается поэтому необходимость при истолковании слов какого-либо человека ставить вопрос о его тенденциях, о том, к чему он стремится». Бурное одобрение со стороны правых было наградой за это откровение, ибо от Келлера мы избавились, но Келлеры остались. Все же мы понимаем радостное чувство юнкеров. Положение *Si duo faciunt idem, non est idem* было в первый раз высказано около двух тысяч лет тому назад древним римлянином Теренцием. Это они знают еще со школьной скамьи; какой радостью для них было услышать, что Теренций был ученым правоведом, установившим положение, которое служит основой правосудия и науки права, что недовольство социал-демократов творимым над ними правосудием представляет собой дерзкий бунт против краеугольного камня справедливости. Какой приятный сюрприз для всех юнкеров!

Дело в том, что до этого всем революционным элементам путем открытого заговора удалось очернить Теренция, как автора комедий, пока, наконец, господин Шенштедт не восстановил его в правах, как ученого правоведа; эти элементы объявили комедиями те источники правосудия и науки права, которые министр открыл в его произведениях. О том, как далеко простирался этот заговор, можно судить по тому, что уже в глубокое средневековье монахиня Гросвит в учрежденном саксонским императором монастыре Гандерсгейм объ-

явила Теренция автором комедий и, чтобы эта мистификация казалась правдоподобной, сама писала комедии в подражание его образцам. В шестнадцатом столетии эта дерзость пользовалась таким успехом, что Иоахим Вестфаль и Кириак Шпангенберг в книге, напечатанной в 1565 г. в Эйслебене и, к великому стыду, хранящейся в королевской библиотеке в Берлине, осмеливались утверждать, что лапидарное правило всякой справедливости *Si duo faciunt idem, non est idem* заимствовано из комедии Теренция, которая называлась «Братья»,—более того, чтобы сделать правдоподобным этот бесполезный подлог, они придали этому правилу метрическую форму:

*Duo quum idem faciunt
hoc licet impune facere huic illi non licet.*

что означает в переводе: «Когда двое совершают одно и то же, один может совершать это безнаказанно, другой—нет».

С каждым столетием наглость этого открытого заговора возрастает. В XVIII столетии в Париже и Лондоне жили два беспутных комедианта, авторы комедий—Мольер и Шекспир. Мольер утверждал, что в своих «*Fourberies de Scapin*» и «*École de maris*» он подражал комедиям Теренция, а Шекспир привел юридическое правило знаменитого ученого правоведа Теренция стихами в одном своем произведении.

В XVIII столетии в Германии вновь является чума. Гамбургский поэт Рихей пишет свою басню о двойственном праве—праве юнкера и праве мужика. Эта басня была озаглавлена: *Duo quum faciunt idem, non est idem* и ее последний стих—«Да мужик, то дело другое»—сделал юридическое правило ученого юриста Теренция крылатым словечком во всей Германии. Впрочем, басня Рихея была не чем иным как ставшей популярной обработкой темы, которая в течение столетий обошла английскую, французскую, немецкую, голландскую, польскую—одним словом, всемирную литературу. Более подробные сведения об этом можно найти в крылатых выражениях Бюхманна. Бюхманн сам, впрочем, принадлежал к этим заговорщикам-революционерам. Более того, его преемник по изданию названного сборника, Вальтер-Роберт Торнов, недавно скончавшийся библиотекарь нынешнего императора, утверждал, что римский автор комедий, Теренций, употребил правило *Si duo faciunt idem, non est idem*, чтобы высмеивать

юстицию, которая прибегает к несправедливому мерилу. Так близко измена пробралась к ступеням трона, и хвала Шенштедту, раздававшему ее одним ударом.

Жаль, очень жаль, что покойный спаситель отечества Штибер не дожил до этого достославного дня. Он многое дал бы за то, чтобы в его время прусский министр юстиции сказал бы, что слова обвиняемого должны быть толкуемы по его «тенденциям». Штибер крал и подделывал документы, ложно присягал, чтобы установить «факт деяния», на основании которого можно было бы вынести более суровый приговор обвиняемым по Кельнскому процессу коммунистов, по процессу Ладендорфа и др.; но насколько была бы облегчена его работа по спасению отечества, если бы он знал, что нужно «толковать» только «тенденцию». Но его ошибка, конечно, была извинительна; в его эпоху прусское правосудие также было связано узами закона; оно отрицало, по крайней мере, публично, и в своих высших инстанциях, юридическое правило ученого юриста Теренция.

Когда Лассаль был осужден берлинским судом к длительному тюремному заключению за свою «Программу рабочих» по правилу *Si duo faciunt idem, non est idem*, он заявил суду: «Во всяком случае, мы оба, я и тайный советник Энгель, говорим, следовательно, одно и то же... Но почему же, спрашиваю я вас, тайный советник Энгель не сидит теперь рядом со мной на этой скамье подсудимых, в качестве моего сообщника, обвиняемый в том же самом преступлении? Где же равенство перед законом, господа? Тайный советник Энгель высказывает известные мысли и, как и подобает, удостоен всеми государственными почестями. Я высказываю те же мысли, и исполненная гневом Фемида бросает мне в лицо свои весы и склоняет долу мою чашу... Сознайтесь же, господа: здесь подверглось осуждению не то, что подлежит ведению уголовного суда, не то, что было высказано. Нет, здесь подверглось осуждению лицо, высказавшее эти мысли, и место, где они были высказаны. Моя лекция осуждена потому, что читал ее я, и читал перед рабочими. Что это такое, господа? Справедливость, или нечто совершенно противоположное справедливости, чему и имени придумать нельзя. Справедливость требует, чтобы не было лицепрятия... Судья, признающий преступным для публичного собрания работников, что не было бы преступно во всяком другом публичном

месте, что не было бы преступно для публичного собрания буржуазии, совершает этим неслыханное превышение власти, создает новое запрещение, неизвестное уголовному закону, он становится притеснителем определенного класса».

И, действительно, вторая инстанция по кассационной жалобе Лассалья отменила приговор первой инстанции в большей части его; даже прусская юстиция не могла тогда открыто стать на сторону принципа: *Si duo faciunt idem, non est idem*.

Заслуга откровенного признания этого «старого основного принципа правосудия и науки права» принадлежит королевскому прусскому министру юстиции Шенштедту. Пока существуют классовые государства, существует и классовая юстиция; в этом пункте ни один народ, ни одна эпоха не может особенно упрекать другой народ и другую эпоху. Великолепным доказательством может служить тот факт, что едкая насмешка римского писателя, автора комедий, Теренция, втечение двух тысяч лет служила у различных народов и в различные эпохи крылатым словечком для выражения бессильного, но все же боевого протеста масс, угнетаемых под прикрытием звонких формул права. Классовая юстиция двадцати веков получила сжатое, но яркое выражение в кратком предложении *Si duo faciunt idem, non est idem*. Что удивительного в том, что господин Шенштедт провозгласил это правило краугольным камнем справедливости в царстве благочестия и страха божия.

О ГРАЖДАНСКОМ УЛОЖЕНИИ.

Важнейший законопроект, который рейхстаг должен обсудить в своей нынешней сессии,—это проект Гражданского уложения. Не существует, пожалуй, более огромной и вместе с тем, более трудной задачи, которая могла бы быть поставлена раздираемому различными классовыми интересами, парламенту великой нации. Обсуждение этого проекта равносильно возбуждению классовой борьбы в самых разнообразных сферах. Трудно предвидеть, какой будет найден выход, и весьма мало вероятно, что с проектом могло бы быть покончено в эту сессию.

Лучше всего проект соответствует историческому положению вещей и интересам крупной буржуазии, и поэтому ее органы усерднее всего стараются рекламировать рейхстагу безоговорочное принятие проекта. К этому благородному делу они приступают не без некоторой хитрости, и, с одной стороны, они возбуждают национальную лихорадку, с другой стороны—спекулируют на страхе имущих классов перед вспышками классовой борьбы. Каким образом? Возможно ли подвергнуть превратностям парламентского голосования это великое творение, долженствующее увенчать здание германского единства? Какому патриоту может притти в голову такая зловещая мысль? Гражданское уложение, приемлемое во всех пунктах для всех классов и партий, относится к области утопий, в практической действительной жизни оно немислимо. Во имя общей национальной идеи мы все должны отказаться от части своих особых идеалов, которые скрыты в наших сердцах или о которых мы говорим во всеулышание. Мы должны великодушно принести отечеству требуемую им жертву и предоставить будущему исправить ошибки, которые могли быть допущены в великом национальном деле. Такое пение сирен раздается повсюду, где распоряжается король Штумм.

Тем не менее это пение не встречает сочувствия. Воз-

можность принятия проекта Гражданского уложения en bloc может ныне считаться уже отпавшей. В лучшем случае об этом могла бы быть речь при условии, если бы при предварительном обсуждении проекта все классы и партии померялись бы силами. Тогда повторное обсуждение проекта в рейхстаге могло бы считаться бесцельным парламентским турниром. Но наряду с поляками мелкобуржуазные классы и рабочий класс до сих пор вовсе не принимали участия в прениях по проекту, и несправедливо было бы полагать, что они позволят сдирать с себя шкуру, не пытаясь даже оказать сопротивление. Представители свободомыслящей партии, которая в нынешнем своем составе больше защищает интересы крупной, нежели мелкой буржуазии, еще принимали участие в обсуждении проекта, но этого нельзя сказать ни о южногерманской народной партии, ни об антисемитской северогерманской мелкой буржуазии. В особенности же сознательный пролетариат не имел случая при созидании нового гражданского права бросить на чашу весов тяжесть политической силы, достигнутой им уже в нынешнем классовом государстве; это, впрочем, представляет собой нечто само собой разумеющееся в знаменитом государстве социальных реформ. Но раз со стороны этих партий можно было ожидать упорного противодействия принятию проекта en bloc, то у различных групп господствующих классов не было оснований придавать патриотический принудительный характер своим вождениям, и потому на предварительном совещании парламентские партии единогласно решили подробно обсуждать гражданское уложение, сперва в комиссии, а затем на пленуме.

Вряд ли предается иллюзиям какая-либо из оппозиционных партий (менее всего социал-демократическая), что таким путем можно добиться идеального гражданского уложения. Если на предварительном совещании партий консерватор Бухка и социал-демократ Штадгаген были совершенно единодушны в вопросе о том, что проект должен подвергнуться подробному обсуждению, то они при этом исходили из диаметрально противоположных точек зрения; Бухка хотел бы втиснуть в проект возможно больше элементов феодального права, между тем как Штадгаген хотел бы придать ему возможно более характер пролетарский. Несомненно, что Гражданское уложение, когда бы и в какой бы форме оно ни вступило в жизнь, не будет представлять собой чего-то монолитного и

способного устоять против бурь столетий. В смысле сжатости и законченности формы изложения гражданского права оно далеко не в состоянии будет соперничать с кодексом Наполеона, который может быть назван детищем революционной эпохи. Конвент, из лаборатории которого Наполеон получил его в значительно ухудшенной форме, воплощал собой буржуазный класс во всей свежести его юношеских сил. Ныне этот класс, в особенности в Германии, состарился и завял, и неспособен даже окончательно уничтожить феодализм, не говоря уже о его неспособности проявить сознательное отношение к революционному наступлению рабочего класса. Гражданское право, которое он может создать, будет полно уловок и уверток, имеющих целью лишить пролетариат исторически завоеванных прав, чтобы при помощи решетки из параграфов трусливо защищать то, что еще может быть защищено из атрибутов капиталистического великолепия; но при всех уловках и всем коварстве оно будет носить печать старческой немощи. Так оно есть, и иначе быть не может; там, где посеян чертополох, нельзя пожинать винных ягод. Эту печать носит на себе и проект гражданского уложения, который спустя 80 лет после того, как его впервые потребовали, дополз, наконец, до порога рейхстага. Усталый старец, который еще юношей и мужем не отличался избытком сил, обрел, наконец, тихую пристань, прежде чем сойти в могилу. Где найдется смелый пророк, который может пообещать этому уложению, при условии, если оно вообще станет законом, долгую жизнь, на которую обычно рассчитаны основные кодексы, хотя бы такое длительное существование, какое выпало на долю старого прусского земского права; ведь для этого последнего, с его изувеченными членами, сто лет представляются почтенным возрастом. С идеалистической иллюзией, которую разделяет еще Лассаль, с иллюзией, что всякое право вытекает из субстанции народного духа, уже покончено; в писаном праве отражается состояние классовой борьбы в данный исторический момент, и поэтому ни один класс не может отказаться от практического участия в этом процессе.

Трудно заранее предсказать в какой мере социал-демократической критике удастся очистить проект гражданского уложения от тех капканов и волчьих ям, которые расставлены в нем для трудящихся классов. Во всяком случае над этим нужно усердно поработать даже в том случае, если слишком розовые

надежды и не смогут оправдаться. Во время кораблекрушения нельзя забывать, что если надо спасать что-нибудь, то именно то, что еще возможно. Эти две цели и стоят перед социал-демократической критикой проекта Гражданского уложения: удалить из него все, что вредит интересам рабочего класса, и доказать, что эта кодификация, поскольку она имеет в виду устранить отсталые правовые нормы, является запоздалым путником на большой дороге истории, за спиной которого раздаются уже твердые и ускоренные шаги его могильщика.

ЮСТИЦИЯ И ПОЛИТИКА.

Нравственное возмущение немецкой буржуазии, цена которому никогда не была высока, совершенно лишилось своей доброй славы с тех пор, как стало одним из наиболее употребительных домашних средств системы Бисмарка. Поэтому не приходится придавать особенного значения тому, что германский рейхстаг и германская пресса почти единогласно разделились с отвратительным господином, который в течение ряда лет угрожал безопасности немецких стран своими буйными, геройскими подвигами. Было бы слишком большой честью для наших господствующих классов, если бы мы стали выражать удовлетворение по поводу того, что они время от времени исключают из своей собственной среды какого-нибудь грешника. Они это делают только будучи к тому вынужденными, и если бы эти грешники не были столь противны, то как раз момент, в который подобные им низвергают их, мог бы вызвать к ним симпатию и сочувствие. В действительности такая возможность исключается, так как эти грешники слишком противны, чтобы быть достойными сочувствия; в особенности это относится к господину Петерсу.

Пусть бюрократия и буржуазия привлекают его к судебной ответственности, как бесполезного раба, скомпрометировавшего святое дело денежного мешка; политический смысл события, который в течение трех дней занимал рейхстаг, заключается в том, что социал-демократия нанесла тяжкий и непоправимый удар колониальной политике, этому фетишу германского капитализма. Тяжеловесное обвинение Бебеля было ударом, который поразил виновников сентябрьского курса сильнее, чем могут поразить сознательный пролетариат их бесчисленные обвинения и приговоры. Петерс был орудием, и притом типичным орудием в руках людей, которым в течение ряда месяцев старались прикрыть свою беспомощную и жалкую политику в наиболее важных культурных вопросах авантюристической

мировой политикой и бесконечными планами о морских вооружениях. Подобно тому, как двенадцать лет тому назад этот мотив был причиной появления немецкой колониальной политики, точно так же он с тех пор был ее животворящей душой; пригвоздив к позорному столбу ее наиболее чувствительное орудие, Бебель оказал великую услугу германскому народу.

Перенесение вопроса в область морали (вместо того, чтобы говорить об ответственности буржуазии) значительно ослабило бы эффект дела Бебеля. Филистеры могут утешаться тем, что рейхстаг высказался в качестве судебного органа о преступнике, которого обыкновенные суды не могли поймать. В действительности с этим святым судилищем дело обстоит далеко не так. Консерваторы и национал-либералы дали пасть Петерсу, поскольку они, жертвуя этим скверным человеком, стремились отсрочить на короткое время гибель своего собственного дела; у представителей центра с ним имелись свои счеты, так как он лишил одного из них влиятельного положения. Эти партии, которые ответственны за колониальную политику, весьма слабо склонны сыграть на нравственном возмущении, так как колониальная политика только принесла те плоды, которые она должна была принести. Честнее их всех был представитель правительства, который также не поддерживал Петерса, но он робко намекнул, что Колумб, Картез, Пизарро также не были идеально-честными людьми. И честный представитель центра, который в ответ на эту реплику заявил, что XIX столетию не приличествует то, что подобало XVII, в лучшем случае доказал, что он безнадежно бестолковый человек. Колониальная политика остается колониальной политикой, а Колумб, Картез и Пизарро были столь глубоко верующими христианами, каких ныне вряд ли можно найти, даже в рядах правых и центра.

С большим правом могли выступить в качестве судей по делу Петерса те буржуазные партии рейхстага, которые всегда выступали против колониальной политики, именно свободомыслящие различных оттенков. Но у них было только формальное право: они отвергают колониальную политику не как капиталистическое предприятие, а как дорого стоящее и не прибыльное. Если бы колониальная политика приносила прибыль, как она в настоящее время приносит дефицит, эти политики ничего бы против нее не имели. Да что они могли бы возразить? Капиталистическая эксплуатация колоний воз-

можно лишь при помощи грубых средств, которые капиталистический способ производства должен был применить в начале своего развития; ужасы, подобные тем, которые совершал Петерс, повсюду сопровождали процесс первоначального накопления капитала. Ныне, когда ход капиталистической машины урегулирован и когда она может эксплуатировать развитый пролетариат по систематическому, прикрытому законами, методу, эти средства забыты и к ним относятся с презрением. Но в тропических странах капитал для выполнения своих цивилизаторских задач должен создать кадр наемных рабочих; для этого не существует другого способа, как ограбление и порабощение туземцев в самых ужасных формах. Таким образом, и возмущение свободомыслящих делом Петерса также представляет собой *qui pro quo*: право пригвоздить этого грабителя имеют лишь те, которые хотят уничтожить самый капитализм, который также нераздельно связан с ужасами, как дерево со своими листьями.

Они ставят Петерса к позорному столбу не как личность, а как тип, как превознесенного героя германской колониальной политики, как герольда новых покушений на мощь нации. Поэтому выступление Бебеля произвело столь сильное впечатление; поэтому те, против которых они были направлены, и прибегли к хитрой мере спасти скверное дело путем жертвования скверным человеком; поэтому же было бы глупо принимать все это шарлатанство за чистую монету и испытывать детскую радость по поводу того, что рейхстаг в качестве небесного суда поймал преступника, ускользнувшего от земного правосудия.

Если в германском рейхстаге стараются замять сильную политику идеальной юстицией, то в прусском ландтаге хотят добиться сильной юстиции при помощи идеальной политики. Министр юстиции Шенштедт вплел новые лавры в венок своей славы, внося в представительный орган прусских денежных тузов предложение наряду с частичным повышением жалования судьям, в большинстве случаев оплачиваемым довольно скупно, также предоставить судебной администрации право выбирать ассессоров, которых она желает назначить впоследствии судьями. Конечно, такой человек, как Шенштедт, требует этого права для себя и своих преемников, руководствуясь исключительно благородными мотивами — поднять уровень судейского сословия, удалить из него недостойные элементы и т. д.

Это разумеется само собой, и было бы дерзостью сомневаться в честных намерениях господина Шенштедта. К сожалению, людям свойственно ошибаться, и из этого не составляет исключения и г. Шенштедт, который крылатое словечко о классовом характере юстиции принял за основное положение римского права. Если бы его желание исполнилось, у нас скоро появилось бы судейское сословие, подобно которому не было в прусской истории, что, конечно, очень много значит.

Когда полвека тому назад Иоганна Якоби обвиняли в государственной измене и оскорблении величества за его «четыре вопроса», он в суде первой инстанции был присужден к длительному заключению в крепости, а во второй оправдан. Председателем суда второй инстанции был старик Грольман, на которого за этот оправдательный приговор посыпались упреки короля Фридриха Вильгельма IV. Он выслушал поток изречений короля и сухо заметил, что по служебным делам не ведет частных разговоров. «В таких делах я не могу отделить лица от должности», заявил король. «А я могу», ответил лаконически Грольман и подал в отставку. Вслед затем последовал вскоре дисциплинарный закон 29 марта 1844 г., который подчинил прусских судей, никогда не отличавшихся излишней самостоятельностью, полному произволу министра юстиции. При применении этого закона ни с чем не считались, и он вызвал озлобление, которое играло не последнюю роль среди причин мартовской революции.

Это историческое воспоминание ни в коем случае не должно поставить на одну ступень поведение нынешнего министра юстиции с поведением министра юстиции того времени. Во-первых, в Пруссии не было больше дела, подобного делу Иоганна Якоби, где вторая инстанция отменила бы приговор первой в благоприятном для обвиняемого смысле. С какими призывами мы ни обращались бы, мы не найдем никого, кто за последние годы боролся бы за право и правду с доблестью Иоганна Якоби и, будучи обвиняем в государственной измене и преступлениях против монарха, не вынужден был бы удовлетвориться приговором первой инстанции. Во-вторых, г-н Шенштедт с презрением относится к такому образцу слуги государства, как Грольман, и подобно своему покойному королю и повелителю склонен считать, что должность и личность нераздельны. В-третьих, г. Шенштедт не поступает столь мелочно и ошибочно, как домартовский министр юстиции

Мюллер: он вовсе не желает третировать и мучить судей. С гениальностью государственного человека курса зигзагов он предлагает представительному органу денежных тузов следующее: «Прежде чем предоставить кому-либо должность судьи, я должен узнать хорошенько характер кандидата; я не выберу в судьи человека, который был бы недостоин этого во всех отношениях. К судейским должностям я допущу лишь избранные научные силы. Кто в Corpus Juris не может найти правила «Si duo faciunt idem, non est idem», тот с самого начала может попроситься с судейской должностью. Таким путем мы добьемся юстиции, чистой, как младенец. Нам не придется дисциплинировать упрямых судей и подготавливать революции. Все пойдет как по маслу, и ангелы на небесах будут восторгаться прекрасной прусской юстицией».

Рейхстаг торжественно судит Лейста, Веланда и Петерса, потому что для обыкновенного суда они недостижимы; ландтаг же должен ограничить выбор обыкновенных судей теми кругами, к которым принадлежат Лейст, Велан, Петерс. Если Германия при виде такой картины не испытывает светлой радости, то она страдает неизлечимой меланхолией.

В ЗАЩИТУ СВЯЩЕННЫХ ПРАВ ЗАЙЦА.

События, которые сейчас разыгрываются в рейхстаге, еще раз показывают буржуазный парламентаризм в его печальнейшем виде.

Речь идет, как известно, об обсуждении Гражданского уложения, которое, по желанию правительства и большинства рейхстага, должно при всяких условиях быть пропущенным еще в это лето. После того, как союзный совет потратил четверть века, чтобы довести его до порога рейхстага, комиссия рейхстага просидела еще пять месяцев над его обсуждением, рейхстаг, однако, должен протащить его за пять дней, и, если возможно, за пять минут. Правительство делает народному представительству лестный комплимент: большинство рейхстага находит, что этим оно осуществляет свое право.

Существенных обстоятельств в оправдание своего решения правительство привести не может. Так как Гражданское уложение должно быть введено в действие лишь 1 января 1900 г., то, очевидно, является безразличным, будет ли закончено его редактирование в середине или в конце 1896 г. Это обстоятельство должно было бы еще более казаться безразличным, потому что в промежутке никаких новых выборов в рейхстаге не предстоит, и будет решать зимою то же самое собрание, которое должно решить во что бы то ни стало летом. Обстоятельства, которые побуждают правительство так упорно настаивать на своем требовании, относятся к области высокой политики. Граф Гогенлоэ решил сложить с себя бремя рейхсканцлера, которое давило слабые его плечи, возможно скорее, и вот, чтобы отчасти приукрасить зияющую пустоту его двухлетнего управления, отчасти чтобы предоставить свободу действий для возможных крутых мероприятий его преемнику, это «великое творение» должно быть в это лето приведено окончательно в порядок.

Большинство рейхстага, которое уступает требованиям правительства, в основе своей состоит из национал-либералов «друзей империи» и из ультрамонтанов «врагов империи». Эти честные люди, которые занимают противоположные полюсы одной и той же буржуазной глупости, объединились на компромиссе: национал-либералы искупают порчу закона об объединениях порчей брачного права, а ультрамонтаны порчу брачного права порчей закона об объединениях. Странствующими в этом компромиссе являются, впрочем, ультрамонтаны, которые большей частью стремятся путем скорее видимых уступок в области клерикализма приобрести капитал на вопросе о полиции. Старый Виндторс перевернулся бы в гробу, если бы мог видеть, как его последователей водят за нос приверженцы Беннигсена. Он действительно жил от торговли коровами, но, по крайней мере, когда он приводил корову в свой коровник, то мог похвастать тем, что если бы кто посмел бы ему подменить одну другой, то должен был бы немедленно ретироваться. Его печальные эпигоны, которых судьба удостоила возможностью наблюдать, как он кашлял и плевал, дали себя провести даже национал-либералам, уже давно потерявшим почву под ногами. Когда слушаешь г. Либера, пожалуй, самого пустого болтуна, которого когда-либо можно было слышать в немецких парламентах,—и этот господин желает что-то сказать,—как он мелет свои националистические фразы, то тебя берет искушение броситься к Беннигсену, который в своем патриотическом комедианстве, по крайней мере, состарился и поседел.

Против протаскивания в спешном порядке Гражданского уложения теперь, однако, восстала также и «патриотическая» и «верная империи» оппозиция, состоящая из Эренграйзев и Фридрихсру, части консерваторов и антисемитов. Следует только перечислить составные части этой коалиции, чтобы получить представление о том, какие возвышенные побудительные мотивы ими руководят. Бравый Бисмарк, который для проведения быстрым темпом и смазывания важных законов постоянно также имел своего человека, и который, по меткому выражению Бебеля, в суждениях о великих духовных движениях обнаруживал себя как жалкий карточный жулик, не мог из зависти допустить, чтобы на долю его преемника могла выпасть такая «честь», как успешное завершение «великого национального дела». Этот же благородный мотив и

вообще неудовольствие по поводу кодификации гражданского права, которое раз навсегда должно было покончить с феодальным правом, превратил часть юнкеров в твердолобых. Что же касается антисемитов, то эта фракция тупоумных вообще не может занять никакой принципиальной позиции в вопросе о Гражданском уложении. Она неспособна практически принимать участие в выработке таких законов, в которых нуждается современное буржуазное общество, так как обреченные на гибель мелкобуржуазные слои, которые за ними стоят, в этом обществе чувствуют себя крайне неудобно, но в то же время не расположены колебать его основ, и потому им остается предаваться пустому резонерству. Так как с этим бесплодным искусством вообще ничего преуспеть нельзя, то антисемиты ухватились за ускоренное проведение Гражданского уложения, как за удобный случай, чтобы разгнать возмущенных друзей народа и разрядить свое нравственное возмущение по поводу формы обсуждения, в котором они никакого участия принимать не могли, разумным или хотя бы неразумным словом. При этом они даже не понимают как решить простую задачу, которой они задалась, и их попытка провести обструкцию поставила их в такое глупое положение, что ультрамонтанский президент, дурача их, дал им возможность казаться еще большими глупцами.

Понятно, что социал-демократическая фракция не может не возмущаться ни национал-либерально-ультрамонтанскими соглашениями, ни их антисемитски-юнкерскими противниками. Она высказывалась против протаскивания в спешном порядке Гражданского уложения и голосовала против, но когда же большинство все-таки голосовало за, она не затевала никакой обструкции, поскольку не было ограничено ее участие в дебатах, которые она считала для себя необходимыми. У нее не было побудительных причин таскать для господина Бисмарка и консерваторов каштаны из огня, как это делали национал-либералы и ультрамонтаны. Для нее решающим является только вопрос—заключает ли в себе Гражданское уложение столь много прогрессивного для рабочего класса в сравнении с существовавшим до сих пор правом, что стоит его принять, как отдельный законодательный итог, и так как этот вопрос разрешается в утвердительном смысле, то она довольствуется тем, что она может получить, между тем как оставляет на ответственности буржуазных партий те средства,

какими они стремятся завершить свое «большое национальное дело». Надо признать, что свободомыслящие и южно-немецкая народная партия следовали той же политике, тогда как сторонники Барта и Риккерта откатились к национал-либералам.

Таким образом, в течение нескольких дней идет протаскивание гражданского уложения, но надо признать, что буржуазный парламентаризм при этом показал себя во всем блеске и во всех отношениях. Единственный светлый луч, это неутомимость, с которой Фромме и Штадтгаген, внесшие существенные улучшения в проект уже в комиссии, оставались на посту, защищая требования пролетариата перед лицом неприятеля. Конечно, им не удавалось провести и в пленуме больше того, чего они добились благодаря своей энергичной и разумной работе в комиссии, и больше им также не удастся провести.

Да и другого и ожидать нельзя было, независимо от того, подвергалось ли бы Гражданское уложение тщательному всестороннему обсуждению или же пеклось торопливо и впопыхах. Это тупое своекорыстие господствующих классов, которое не позволяет буржуазным партиям в рейхстаге ни двигаться, ни шевельнуться, когда социал-демократические ораторы стремятся показать, что оскорбляющий человечество позор феодальных крестьянских установлений при помощи Гражданского уложения не только может быть смягчен, но и может быть совершенно устранен.

Однако, что не смогли сделать страдания людей, то сделали страдания зайцев, а именно заставить буржуазные партии большинства притти в состояние патриотического воодушевления, патриотического самопожертвования. Перспектива, что зайцам нельзя уже будет больше даром, за счет бедных людей, нажираться до отвала, сплотила вчера штурмовые колонны в единый фронт, и господин Либер, победоносный меч центра, смиренно капитулировал, покрывшись национальным флагом, подобно умирающему гладиатору. Он пустил в ход ту же самую манеру пустой болтовни, которой его нынешние товарищи национал-либералы старались окрасить свои отвратительные компромиссы. Это позорное поведение не помешало ему и в дальнейшем проявлять свою «сознательность» и вдохновляться на новые подвиги во имя «преуспевания национального дела». Характерно то, что люди

подобные Беннигсену, у которых такая манера говорить стала второй натурой, наловчились произносить речи еще с большим апломбом и притворным достоинством, чем это делает господин Либер, в устах которого они звучат еще более чудовищными, чем они на самом деле.

Было бы несправедливым не признать, что победители также выступали в роли рыцарей печального образа, как и побежденные. «Борцы за порядок, нравственность и право», которые сидят на правых скамьях, зевая с циничным спокойствием духа, когда шли дебаты о государственном урегулировании крестьянских взаимоотношений, горячо вели «большие дебаты», когда их дворянская прихоть, охоте, угрожала незначительная опасность—закон о возмещении убытков за повреждения, причиненные зайцами. Им не зазорно было угрожать тем, что они сорвут кворум и таким образом сделают рейхстаг неправомочным, если Гражданское уложение не предоставит зайцам права нажираться до отвала за счет крестьян и рабочих. Это была попытка парламентарным способом в самой лучшей форме оказать давление, и уже на этом основании при наличии хоть некоторого политического самоуважения и некоторого национального самосознания эта попытка должна была оттолкнуть национал-либерал-ультрамонтанских соглашателей. Юнкера, несомненно, знали очень хорошо, на кого они накладывают ярмо. Бесстыдство, с которым они в конце XIX ст. отстаивали последние остатки феодального права на охоту, не находит себе не только оправдания, но даже и извинения; однако, несомненно, это объясняется недостаточной легкостью рук, которую обнаруживает буржуазный класс, хотя он и представлен г. ф.-Беннигсеном и г. Либером.

Те же буржуазные партии рейхстага, за день до того даже не считавшие нужным хотя бы одним ухом слушать, когда социал-демократические ораторы требовали для трудящихся самых элементарных человеческих прав, яростно защищали неотъемлемые заячьи права. Зайцу можно обглодать крестьянина дочиста, дабы дворянская прихоть юнкеров не претерпела никакого ущерба. Для достижения этой прекрасной цели консервативные национал-либеральные и ультрамонтанские патриоты проливали ручьи благороднейшего пота. Несмотря на это, нельзя отрицать того, что они действительно поработали для крестьян и маленьких людей вообще, которые

еще имеют клочок земли, на котором еще зайцы могут кормиться. Партия «маленьких людей», которую г. Гер желает организовать, по крайней мере сейчас знает, где она должна искать благосклонных доброжелателей. И если она сделает надлежащий вывод из заячьих прав, гарантированных большинством рейхстага, то она извлечет несомненно большую пользу. Буржуазные избиратели пусть еще раз основательно подумают, и, надо полагать, они это сделают, если они сами, конечно, не желают стать посмешищем благодаря циничной наглости, с какой их избранники развернули национальное знамя над священными заячьими правами.

Зато, пожалуй, было бы еще большим позором, чем тот, который даже широкая спина немецкого народа в состоянии перенести, если за национально-либеральной эрой должна была бы последовать во всех отношениях в одинаковой степени еще более вредоносная и еще более гнусная национально-клерикальная эра.

По своей внутренней сущности ультрамонтанская партия всегда была реакционной партией и должна быть такой. Идеальная Германия, которую г. Виндторст носил в своей голове, была еще на двести лет более отсталой, чем действительная Германия г. Бисмарка. Но что создало для ультрамонтанской партии некоторое уважение и влияние даже в тех народных массах, которые были склонны двигаться далеко вперед, в то время как та партия стремилась назад, так это та вообще необычная для буржуазных партий твердость, с которой она сумела выступить против всеподавляющей демократизации бисмарковского режима и твердо отстаивать свои идеалы, хотя и уродливые. Если она эту твердость оставит и снова погрузится в общую неразбериху буржуазного порядка и соглашения, то разница между нею и национал-либералами будет не в ее пользу; для этого имеется достаточно оснований: г. Либер, как патриот, спаситель государства и отечества, еще более комичная фигура, чем г. Беннигсен. На ближайших выборах в рейхстаг ультрамонтанская партия, как можно ожидать получит надлежащую оценку своих героических подвигов на поприще своей преобразовательной деятельности и ее поведения при проведении Гражданского уложения. Это будет как раз самый интересный момент.

Что касается социал-демократической партии, то она заняла принципиальную позицию, одинаково определенную, как

и ясную, к Гражданскому уложению. Она показала, что и в условиях буржуазного общества она лучше умеет справиться с большими законодательными задачами, чем какая-либо из буржуазных партий. Ей не удавалось устранить всего того, чего она желала; однакоже она провела кое-что, что будет способствовать освободительной борьбе пролетариата. Таким образом ее заслуга состоит в том, что буржуазные партии за небольшим исключением при обсуждении этого закона окончательно себя дискредитировали, и что этим еще раз зафиксировано банкротство буржуазного парламентаризма.

БУРЖУАЗНО-ПРОЛЕТАРСКОЕ.

Сегодня рейхстаг покончил с третьим чтением Гражданского уложения. Таким образом транспортеры выполнили желание правительства, и «великое дело» будет украшать эру Гогенлоэ. Вспоминают ли буржуазные партии с особым удовлетворением травлю, имевшую место за последние недели, мы не знаем. Если они это делают, то нельзя за ними не признать, хотя бы в этом случае, одной добродетели—скромности.

Со всей справедливостью должен был Штаттгаген при третьем чтении признать, что ни одна из партий не работала с таким рвением над Гражданским уложением, как социал-демократия, но ни одна партия не имеет столько оснований, как она, жаловаться на ту обстановку, при которой происходили дебаты. Не вся ее работа делалась напрасно,—она сумела добиться некоторых результатов в интересах трудящихся классов, а именно—это ожидание было высказано нами за восемь дней до этого—возможности провести то или другое во втором чтении, как например, снижение совершеннолетия с 25 лет до 21 года, улучшение, которое в третьем чтении она успешно отстояла против нападения могущественного г. Штумма. Однако, что ей не удалось при всей ее энергии и умелости, это—удовлетворение тех интересов пролетариата в области гражданских прав, которое возможно даже в условиях капиталистического общества. Несмотря на все напыщенные речи об окончательно достигнутом равноправии, остаются в Гражданском уложении отжившие особые привилегированные права имущих классов и партикулярно-правовые исключения, направленные против широких слоев трудящихся: против горнорабочих, части сельскохозяйственных рабочих и домашней прислуги. Одно это обстоятельство уже заставило социал-демократическую фракцию в последнем заключительном за-

седании голосовать против новой кодификации гражданского права.

Поэтому она никогда не отрицала, и не отрицает и теперь, что в Гражданском уложении прямо направленных против рабочего класса законоположений не содержится, но, наоборот, есть законоположения, которые являются прогрессивными и для рабочего класса. Природа буржуазного общества такова, что чем более высокого развития оно достигает, тем больший простор завоевывается для освободительной борьбы. Оно само готовит то оружие, которое его же уничтожит, и борцов, которые сумеют сделать употребление из этого оружия. Этот антагонизм составляет внутреннюю сущность его и исчезнет вместе с ним самим. Чем большего развития уже достигла классовая борьба между буржуазией и пролетариатом, тем озабоченнее глядит буржуазное общество при всех реформах, которые проводятся в его собственных же интересах, хотя оно нарочно и стремится, чтобы эти реформы для буржуазии могли быть более реальными, а для пролетариата иллюзорными. Этим также объясняется, почему Англия и Франция в области буржуазного права так значительно дальше ушли, чем Германия. Английская и французская буржуазия имели период расцвета, когда они ошибались относительно дальнейших результатов капиталистического хозяйства; требования пролетариата, который впервые дал о себе знать несвязными и невнятными звуками, они могли с большой уверенностью рассматривать, как безразличные случайные явления. Германской буржуазии не так уже хорошо стало: как только она предъявила свои исторические требования, заявили свои исторические требования и ее наследники. Пусть ее продажные писакки доходят до изнеможения в своих бесконечных писаниях о пролетарских утопиях; она сама гораздо лучше знает, где кроется правда, и при всех ее успехах ее все же беспокоит тот здоровенный парень, который в своих грубых сапогах движется за ней по ее стопам. При проведении реформ она ведет себя как в Эртенахской скаковой процессии: два шага вперед, один шаг назад.

То же самое имело место при проведении Гражданского уложения. Буржуазия нуждалась в равноправии, как бедняк нуждается в куске хлеба, но она знает также, что равноправие выравнивает почву для борющегося пролетариата. Ее

стремления, следовательно, сводятся к тому, чтобы равноправие для себя претворить в действительность, а для пролетариата создать одну видимость его. Но это значит искать в некотором роде разрешение квадратуры круга. Буржуазия не может изготовить Гражданского кодекса, который хотя бы некоторым образом соответствовал бы исключительно ее интересам без того, чтобы кое-что не перепало пролетариату. Однакоже, поскольку она могла совсем или в большей части сузить равноправие за счет рабочего класса, она это сделала. В отдельных случаях не всегда было легко и просто провести разграничительную линию, и в различных пунктах этой линии проницательная политика социал-демократической фракции рейхстага сумела отеснить представителей буржуазии дальше, чем это входило в намерение этих господ. В ряде случаев она сумела помешать эртенаским прыгунам делать два шага вперед и один шаг назад. Но там, где для буржуазии было ясно, что равноправие совсем или преимущественно будет служить пролетариату, ее, упорно отстаивающую свои классовые интересы и классовый эгоизм, естественно нельзя было отбросить.

Этим определялась социал-демократическая тактика. Стоило того, чтобы со всей энергией принимать участие в выработке кодекса, представляющего в общем прогрессивный этап в историческом процессе, и стоило приложить усилия, чтобы законоположения по возможности превратить в исторический прогресс для рабочего класса в частности. Но социал-демократическая партия не может приложить свою печать к документу, который в важных случаях отказывает пролетариату в тех правах, которые могут быть ему предоставлены даже при современных условиях буржуазного общества. Эта политика так же ясна, как и сама собой понятна, и из всех фракций рейхстага социал-демократическая является единственной, которая с полным удовлетворением может следить за развертывающимися дебатами по поводу Гражданского уложения. Она одна всегда и при всяких условиях знала определенно, чего она желает, и несоответствие результатов ее домоганиям—только кажущееся, которое вводило в обман тех, которые на это рассчитывали. Парламентское большинство не может превратить разум в безумие, и господствующий класс, отрицающий в своем слепом эгоизме выводы из своего собственного мировоззрения только потому, что их сделал

угнетаемый класс, не должен, однако, быть уверенным в том, что у него под ногами есть еще твердая почва.

Конечно, он тем судорожнее поддерживает в себе эту уверенность, чем больше он чувствует, что его господство стало весьма шатким. Показательным является случай, что одновременно с проведением Гражданского уложения министр ф.-Берлепш оставил свой пост, который он принял, как «министр социальных реформ». Его положение уже давно пошатнулось, и тем не менее его падение трагично. Если бы он ушел, когда исчезли последние надежды на то «социальное королевство», представлять которое он был призван, то он уже в течение многих лет жил бы в заслуженном покое. Кто помнит еще сегодня про февральские приказы, которые давно в урагане пролетарской борьбы развеялись, как иссохшие осенние листья. Г. ф.-Берлепш сам каждый раз в рейхстаге заявляет, что правительство не отважится вступить на тот путь, на который должны толкать такие приказы, из опасения усилить, благодаря социальным реформам, социал-демократию. Он характеризовал это правильно, как спекуляцию на недалновидность пролетариата, как спекуляцию, которая, кроме того, была еще бесконечно недалновиднее; даже в том случае, если бы пролетариат пошел на ее удочку. Несмотря на это, г. ф.-Берлепш был одним из тех умных и имеющих добрые намерения администраторов, в которых прусская бюрократия никогда не чувствовала недостатка со времени Альтенштейна и Шейна, и даже еще раньше. Бюрократия—это класс со своими собственными интересами, который как таковой, не всегда танцует под дудку юнкерства или буржуазии. Именно, ее более одаренные и сильные представители стремятся быть в некоторой степени самостоятельными и разыгрывать роль защитников государственных интересов, смотря по обстоятельствам и против господствующих классов, которые борются за обладание государственной властью. Когда зашла речь о так называемом освобождении крестьян в Пруссии, военный советник Шарнвебер выступил с большой резкостью против проделок, которыми юнкера пытались прежде всего надуть крестьян. С большой резкостью, но он не был в состоянии существенно воспрепятствовать жестокому ограблению юнкерами крестьян. Такие белые вороны всегда встречались в прусской бюрократии. Они уверены

в том, что в классовой борьбе они стоят над партиями, и что они смогут примирить интересы угнетаемых с интересами угнетателей. Однако при этом они всегда сохраняют свое лицо бюрократа, и история не дает нам ни одного примера о таких прекрасных людях, чтобы крушение их идеалов приводило кого-нибудь из них к преждевременной трагической гибели.

Также г. ф.-Берлепш уходит радостный и довольный, и навряд ли он может ожидать, чтобы в рабочем классе его уход вызвал слезы. И если он не умер за свои идеалы, то, однако, можно о нем сказать вместе с шведским генералом Валленштейном: «Говорят, он готов был умереть». Необыкновенное упорство, с которым он отстаивал минимальные права пекарей, дает основание благосклонному предположению, что он, не будучи в состоянии жить, как «министр социальных реформ», все же пожелал умереть, как «министр социальных реформ». И этот его своевременный уход может быть ему поставлен в заслугу, так как в защите пекарей так прекрасно выявилося, что за «социальной реформой сверху» действительно ничего ровно не скрывается. Единственно, что она обнаруживает, это поистине трогательное великодушие; она ревностно старается все еще изобразить печальные предсказания о ее никчемности, как розово-красные иллюзии. Если бы кто-нибудь во время издания февральских приказов предсказывал, что специально назначенный «министр социальных реформ» будет опрокинут, так как после шести лет бездействия он пытался хоть немного ограничить самую и жестокую и постыдную эксплуатацию рабочих-пекарей,—то самый непримиримый социал-демократ усмотрел бы в этом пророчестве позорную клевету на «социальное королевство». Так низко, как она сама себя оценила, самые ярые противники не смели оценить «социальную реформу сверху».

Падение гр. ф.-Берлепша надо скорее рассматривать в ряду последствий деятельности короля Штумма. Действительно ли следует дать направление кораблю нового германского государства, по указанию Штумма? Было бы смелостью спорить, что в государстве, в котором всякая возможная социальная реформа оказалась невозможной, однако в то же время социальная реакция, которая должна быть невозможной, стала возможной; у короля Штумма чувство самосохранения слиш-

ком сильно, чтобы без особенной побудительной причины вступить на скользкий путь, с которого он не сошел бы с неповрежденными суставами. Однако этого твердого человека мы не увидим пускающимся со страхом и трепетом на эту авантюру, но, наоборот, он пускается с радостью благосклонного друга человечества. Ну что ж; побольше мужества: от роковой судьбы вам не уйти.

НОВЫЙ ЗАКОН О СУДОУСТРОЙСТВЕ.

Рейхстаг приступил к обсуждению нового закона о судоустройстве, который должен устранить некоторые из самых скверных зол, от которых страдает германское правосудие. Достигнет ли этот закон своей цели, весьма сомнительно. Улучшения, которые правительство готово внести, как, например, в вопросе о вознаграждении за невинно понесенное наказание, в вопросе о восстановлении апелляции, должны быть куплены весьма дорогой ценой всяких ухудшений; при этом правительство так упорно в своих благородных намерениях, что, собственно говоря, имеются две возможности: или оно осуществит свою волю, или новый закон провалится. О том, чтобы рейхстагу удалось принудить правительство пойти на капитуляцию, вряд ли приходится думать. Для этого у него нет ни смелости, ни сил; жалкая страсть к компромиссам так глубоко засела в рейхстаге (вплоть до буржуазного демократа Ленцмана), что приходится считать проявлением огромного мужества, если рейхстаг вообще станет на точку зрения, предпочитающую лучше ничего не получить, чем получить такие крохи.

Если существует вообще какое-либо явление, относительно которого самые пылкие патриоты сходятся во взглядах с неисправимыми врагами государства,—то таковым является упадок германского правосудия. Такой журнал, как «Прусские ежегодники», лояльность которого выше всяких подозрений, опубликовал на эту печальную тему целый ряд статей, которые, очевидно, исходят из весьма авторитетных источников, и общий смысл которых тот, что о германском, в особенности же о прусском правосудии, можно говорить лишь с иронией. Нет ничего удивительного, что это серьезно обеспокоило тех буржуазных политиков, которые не лишены способности заглядывать несколько вперед. Скверная юстиция является одним из наиболее сильных рычагов революции, и это хорошо созна-

ют буржуазные идеологи. Они скорее переоценивают эту опасность, находясь под влиянием ошибочного представления, будто в буржуазном обществе может и должна иметь место беспристрастная юстиция. Проходит много времени, пока патриот начинает сознавать, что с Фемидой неблагополучно, но, когда он, наконец, постигает это, совесть говорит в нем с удвоенной силой; несомненно, что как в германском рейхстаге, так и вне его найдется порядочное число добрых людей, охотно желающих помочь германской юстиции. Если бы только эти люди не были скверными музыкантами. Идеал беспристрастной юстиции, который они создают себе, осуществим только на небесах, и гораздо ближе к истине те слова, которые Бисмарк несколько недель тому назад высказал в «Hamburger Nachrichten». Он назвал ошибочным взгляд, будто государственное правосудие в состоянии гарантировать идеальную справедливость, которая соответствовала бы всем предъявляемым к ней требованиям. Идеальную справедливость может осуществлять только бог. В действительности право не покоится на базе абстрактных точек зрения, а существует для того, чтобы поддержать правопорядок в государстве и обезвредить тех, кто желает нарушить и изменить этот порядок. Таким языком говорит «практический государственный деятель», называющий вещи их именами, и Бисмарк вполне прав, утверждая, что в классовых государствах возможна только классовая юстиция.

Упадок германского правосудия выражается не в том, что оно все более и более сходит с пути идеальной, или, как выражается Бисмарк, божественной справедливости. По этому пути оно никогда не шло, и мы имеем дело не с падшими ангелами, которые часто творят сомнительное правосудие. Германская юстиция никогда не подымалась на такую высоту, какой может достигнуть правосудие на базе буржуазного общества, какой оно действительно достигло в Англии, и даже во Франции. На ее долю выпала печальная судьба стоять во главе упадка буржуазного правосудия, в то время как в эпоху расцвета этого правосудия она всегда порядочно отставала. Принцип, гласящий, что если двое желают одного и того же, то это не есть одно и то же, характеризует собой практику всякой классовой юстиции, но ни один английский или французский министр юстиции не решался провозгласить его в качестве теории идеальной справедливости. Такое честное

и прямое отсутствие всяких правовых иллюзий представляет собой чисто прусскую привилегию.

Причина этого различия заключается в том общеизвестном факте, что буржуазное общество в Пруссии и вообще в Германии не имело времени развивать твердую веру в самое себя. Оно едва только начало сознавать себя, как в двери стали стучаться наследники, и прежде чем отворить двери этому здоровому молодняку, оно охотно объединялось с теми, наследовать которым было его исторической обязанностью и историческим правом. Как и в других сферах, так и в сфере юстиции оно не осмелилось покончить с бюрократически-феодальными теоретиками. Юстиция оставалась орудием весьма слабо прикрытого абсолютизма. То, что Иоганн Якоби высказал по этому поводу пятьдесят лет тому назад в своих «Четырех вопросах», остается в силе и поныне, в лучшем случае, с той разницей, что Якоби, хотя и подвергся обвинению, но был оправдан; тот же, кто вздумал бы применять эти слова к нынешней юстиции, несомненно подвергся бы обвинению, но вряд ли был бы оправдан.

Дело в том, что классовая юстиция классовой юстиции рознь. Юстиция, стоящая на высоте современного буржуазного общества, не является еще идеальной справедливостью, а лишь классовой юстицией, имеющей своим назначением поддержание правопорядка этого общества и защиту его от посягательств. Упадок этого общества означает и упадок юстиции. Но еще более жалкий вид представляет собой юстиция, которая на почве самого по себе упадочного современного буржуазного общества протекает еще в бюрократически-феодальных формах. Такова печальная доля прусско-германской юстиции. Бравый бюргер в течение десятилетий находил свою искреннюю радость в том, что эта юстиция третировала свободного рабочего, как крепостного. В лучшем случае он с скрытой улыбкой молчал, когда по отношению к пролетариату право всячески искажалось и толковалось вкривь и вкось. Теперь, когда на дереве этой юстиции созрели плоды, которые ему самому кажутся горькими, он поднял сильный шум.

Ясно, что чем сильнее идет развитие современного буржуазного общества в Германии, тем все более беспомощной и неудовлетворительной должна становиться юстиция, которая всецело еще вязнет в болоте бюрократически-феодального

общества. Нужна была ограниченность немецкого филистера, чтобы вообразить, будто можно иметь юстицию, которая могла бы одновременно держать пролетариат в ежовых рукавицах, при помощи всяких отсталых мер, и вместе с тем стоять на уровне требований, предъявляемых современным буржуазным обществом правосудию, соответствующему его интересам. Так благополучно не могло обстоять дело в нашем несовершенном мире. Если он желает иметь юстицию, подобную той, которая существовала в период действия закона против социалистов, не говоря уже о предшествующей эпохе, то он должен и довольствоваться ею.

Но наши патристические буржуа, по крайней мере большая их часть, отнюдь не склонны отказываться от судебной борьбы с «переворотом», и правительство также не думает отказаться от такого орудия, каким является для него современная юстиция. «Государственномыслящие элементы» не проектируют радикальной реформы правосудия, поскольку она возможна и необходима даже с чисто буржуазной точки зрения; защищать эту точку зрения они предоставляют «сторонникам переворота». Вся «судебная реформа» правящих классов сводится к попрошайничеству и торговле из-за отдельных требований, способных в известной мере ослабить скверные последствия неудовлетворительной юстиции. На это и направлены главные пункты нового закона,—восстановление апелляции и вознаграждение невинно-осужденных. Если бы приговоры первой инстанции в общем и целом были бы правильны, то вопросы об апелляции и о вознаграждении не были бы столь жгучими. Новый закон касается не корня зла, а имеет в виду лишь ослабить его разрушительное действие. Он сводится во всяком случае к сплошному топтанию на месте, и неизвестно, внесет ли оно улучшение, оставит ли все постарому или ухудшит дело; другими словами, осуществит ли буржуазная оппозиция свои желания или отвергнет проект, или же победит правительство. Даже с точки зрения таких скромных перспектив дело обстоит не особенно благоприятно. Шенштедт является истинно-прусским министром юстиции и верным последователем Липпе и Симонса. Non possumus у него всегда под рукой, и по своей ловкости он стоит гораздо выше руководимой Ленцманом «буржуазной демократии», уступчивость которой равна ее ограниченности. Похоже на то, что Шенштедт уйдет с поля сражения победителем, и

германская юстиция будет продолжать свое революционное дело.

Пролетариату безразлично, какой оборот примет дело. Ему больше всего придется терпеть при теперешнем положении юстиции, а выгоды, которые он может приобрести от пары паллиативных мер (выгоды весьма проблематические, так как весьма сомнительно, чтобы рабочий класс выиграл что-либо от своего права апелляции на несправедливые приговоры или от своего права получить вознаграждение за невинно понесенные наказания), непропорциональны той огромной услуге, которую оказывает делу разрушения классового государства сохранение нынешнего положения юстиции. Пословица *Justitia fundamentum regnorum* пустая фраза, если этим хотят сказать, что классовое государство покоится на идеальной справедливости, но она представляет собой серьезную и глубокую истину в том смысле, что классовое государство, не предоставляющее эксплуатируемым классам даже тех прав, которые оно могло и должно было бы им предоставить, губит этим самого себя.

РЕЙХСТАГ И ПРАВОСУДИЕ.

Когда собрался вновь избранный прошлым летом рейхстаг, все были поражены его бессилием и смирением. Пытаясь объяснить это явление, мы высказали надежду, что дебаты станут более живыми, как только начнется обсуждение проекта тюремного устава, другими словами, когда выплывут наружу великие противоречия нашего времени. Это случилось раньше того, как появился на свет названный проект, при первых его движениях в чреве матери-реакции, одним из которых является дрезденский приговор. Дебаты рейхстага по поводу этого приговора были такими бурными, какими они редко бывают в германском народном представительстве, и окончились моральной победой социал-демократии по всей линии, что было признано и наиболее умными противниками.

Такие победы всегда действительнее, когда они одерживаются при обороне, а не при нападении, и нужно считать невольной заслугой Штумма, что он завязал дебаты, столь позорно окончившиеся для него и ему подобных. Мнение, будто рейхстаг не должен становиться высшей инстанцией над судами страны, не имеет разумного смысла даже с буржуазной точки зрения. Как и все отрасли государственной жизни, правосудие также подлежит контролю народного представительства и даже в двойном размере, если его органы, несмотря на кажущуюся независимость, в действительности столь зависимы от правительства, как это имеет место в различных государствах, в особенности в руководящих странах германской империи. Можно охотно согласиться, что в Германии нет ни одного судьи, который бы сознательно, вопреки своим убеждениям, вынес бы неправильный приговор, но это отнюдь не значит, что правосудие независимо от влияния правительства. Ученые судьи принадлежат также к бюрократии, к той бюрократии, о которой Франц Циглер говорит, что лицам, входящим в ее состав, прежде чем они ста-

новятся зрелыми, переламываются «все духовные и нравственные ребра». Это, может быть, чересчур резко сказано и не может относиться ко всем представителям бюрократии, и тем не менее несостоятелен взгляд, что класс судей независим от правительства.

В другом месте Циглер говорит: в абсолютных государствах несменяемость судей является коррективом к тирании, в свободных государствах эта независимость сама проявляет себя, как тирания. Поэтому Соединенные штаты и Швейцария ищут гарантию в несменяемости судей; и Греция и Рим разрешали этот вопрос соответственно той степени свободы, которой они пользовались. О положении германской юстиции он говорил столь же метко, сколь и резко. В то время как с защитой судей против влияния правительства, которое безусловно имеет место в абсолютных государствах, дело обстоит весьма неважно, высказывается требование, чтобы правосудие не подвергалось критике со стороны народа и народного представительства, критике, которая в свободных государствах является чем-то само собой разумеющимся. Такие притязания смешны, и тот, кто им подчиняется, добровольно отказывается от звания сознательного сына своего народа.

По вопросу о сменяемости судей в свободных государствах могут быть, как выражается Циглер, написаны целые томы. Понятие «свободного государства» нуждается еще в истолковании, и в свободных государствах до тех пор, пока они остаются государствами классовыми, господствует классовая юстиция, по отношению к которой несменяемость судей при известных условиях может быть коррективом. В принципе же из понятия свободного народа несомненно вытекает, что своего суверенитета в области правосудия он не может переносить на органы правосудия. Ведь и в абсолютных государствах судьи выносят свои приговоры «именем короля», который в своем лице якобы воплощает суверенитет нации. Я говорю «якобы», так как в действительности правосудие именем короля повсюду приводило к самой скверной кабинетной юстиции, в качестве необходимой меры против которой и появилась несменяемость судей, которая повсюду была отвоевана у королевской власти в результате упорной борьбы. Больше, чем необходимой мерой, она не могла и не может быть, ибо там, где монархия в некоторой мере еще сильна, уже из всех ее установлений необходимо вытекает, что она оказывает на

правосудие гораздо более сильное влияние, чем сама нация. Нередко она даже умела извлекать выгоды из этой необходимой меры—«мнимо-независимое судейское сословие» она сумела превратить в более сильное укрепление для защиты своей власти, чем то, которым она обладала в лице ничем неприкрашенной кабинетной юстиции.

Нигде, может быть, это не сопровождалось таким успехом, как в прусском государстве. Стоит только вспомнить две знаменитые истории о мельниках, которые еще поныне играют видную роль в прусских школьных учебниках. Одна из этих историй, в которой рассказывается о том, как старый Фриц должен был отказаться от желания иметь мельницу в соседстве Сан-Суси вследствие угроз владельца этой мельницы судом, придумана одним французским баснописцем в тех же целях, которые побудили однажды Циглера заявить: «Я обращаюсь к кади». Циглер хотел этим осмеять прусскую юстицию, намекая на то, что «далеко где-то в Турции» правосудие стоит выше, чем в прусском «правовом государстве»; точно так же и французский баснописец, желая протестовать против юстиции бурбонских королей, придумал басню о том, что в варварской Пруссии даже королю приходится смириться перед простым мельником, который может пригрозить судом. Несмотря на столь нелестное свое происхождение, эта басня хранится среди сокровищ прусского государства. Другая история о мельнике, не менее знаменитая, представляет собой не что иное как акт грубой кабинетной юстиции. Старый Фриц отменил несомненно правильный приговор и избил нескольких членов суда только потому, что его натравил на них какой-то невежественный офицер. Этому нисколько не противоречит то, что этот король посвоему действительно желал иметь хорошую юстицию. Но хорошей он считал ту юстицию, которая решала так, как он находил правильным.

Нельзя также отрицать, что в истории прусской юстиции были отдельные случаи, в которых неустрашимые судьи осмеливались выносить решения вопреки воле короны. Но это были лишь редкие случаи, исключения, которые, согласно пословице, только подтверждают правило. Нельзя указать периода в истории прусской юстиции, в который она постоянно противилась бы ясно выраженной воле правительства. Одна из самых тяжких, высмеянных еще Лассалем, ошибок буржуазной оппозиции, состояла в том, что она верила в легенду о непо-

грешимости прусской юстиции. Но прусская юстиция умела злоупотреблять и смиренным терпением либералов. Особенно замечательную виртуозность проявлял в этом отношении прусский верховный трибунал, которому однажды порядочно влетело от парламента. Но это были мимолетные нападки, и в общем либеральные филистеры продолжали восхищаться прекрасной прусской юстицией. Дело не изменилось к лучшему и тогда, когда прусское государство выросло в германскую империю. Да и как могло дело улучшиться, если, по меткому выражению императора Вильгельма, эта империя представляла собой только «удлиненную Пруссию». Воспоминания о грехах прусского верховного трибунала оказали влияние в том смысле, что новый имперский суд рейхстаг перевел в Лейпциг, как будто это меняет дело. Случаи, в которых правосудие в эпоху Бисмарка не могло избежать давления свыше, неисчислимы; попытки осуществлять при помощи суда законы против социалистов, после того как в полицейском порядке это не удалось, вызвали возмущение даже со стороны смиренных национал-либеральных газет, указывавших, что такое развращение юстиции становится невыносимым. Я говорю «не могло избежать», так как здесь играли роль не лица, а сама сущность вещей, получившая свое печальное выражение в уступчивости судей, оказавшихся слишком податливыми к требованиям Бисмарка. От прусских бюрократов нельзя требовать больше того, что они в состоянии дать, а бороться и умирать подобно Леониду у Фермопил представляет собою нечто выходящее за пределы отпущенной им меры героизма.

Тем более представляется необходимым, чтобы рейхстаг наконец опомнился и подверг бы германское правосудие беспощадной критике.

О ПРАВЕ НА РЕВОЛЮЦИЮ.

Нашу эпоху можно упрекать в чем угодно, только не в отсутствии невольного юмора. Прошло 40 лет с тех пор, как Берлинское философское общество на зло враждовавшему тогда с буржуазией правительству предложило Лассалю выступить с торжественной речью на праздновании юбилея Фихте—то самое Философское общество, которое шесть лет тому назад, когда умер Энгельс, пыталось опозорить его клеветнической речью одного из своих тупоумных профессоров. Но это благородное общество пошло еще дальше, и чтобы вычеркнуть из своей патриотической летописи позорное приглашение Лассалю выступить от его имени, вновь занялось памятью Фихте и притом в такой форме, чтобы никому в голову не приходило, что оно некогда давало Лассалю поучать себя докладами о Фихте. Это Философское общество действительно обладает патриотическим благоразумием. Канту в Берлине поставлено два памятника; один стоит у хвоста лошади, на которой восседает старый Фриц, другой раз мы видим Канта в свите толстого Вильгельма.

В своем охранительном настроении Философское общество считает, что то, что справедливо по отношению к Канту, должно быть справедливым и по отношению к Фихте. Но так как тот Гогенцоллерн, лакеем которого Фихте мог бы быть представлен, имеет уже в Берлине четверть дюжины памятников, и нет смысла из-за ничтожного философа воздвигнуть еще четверть дюжины, то Философское общество с достойным удивления глубокомыслием обсуждало вопрос о возможности воздвигнуть Фихте памятник, не рискуя надеждами на орден красного орла четвертой степени. Заботу по постановке проектируемого памятника оно возложило на его превосходительство имперского канцлера графа Бюлова, и его превосходительство в благосклонном письме, обошедшем органы буржуазной прессы согласилось принять на себя эту миссию.

Мы не хотим бросить имперскому канцлеру упрека в том, что он незнаком с сочинениями Фихте. Наоборот, в этом мы усматриваем его верность долгу. Государственные дела не дают ему возможности и времени рыться в старых книгах, которым уже больше ста лет. Но когда имперский канцлер сидел еще на школьной скамье, он слышал «О речах к немецкой нации» Фихте, которые он цитирует в своем милостивом письме Философскому обществу; какой-нибудь высокоблагонамеренный малый из дипломированных эрудитов убедил его, что Фихте был патриотом в стиле «с богом за короля и отечество». Этим объясняется, что граф Бюлов с невинным добродушием касается раскаленного железа, которого он должен был бы бояться, так как оно может обжечь пальцы, несмотря даже на бархатные перчатки канцлера.

Предоставим настоящему Фихте прочесть имперскому канцлеру небольшую лекцию. В качестве мудрого государственного человека Бюлов отрицает право на революцию, но Фихте отрицает самым решительным образом возможность такого суждения. «Ни один дворянин, ни один военный в монархических государствах, ни одно должностное лицо, находящееся на службе дворов, выступивших против французской революции, не может быть судьей в этом деле. Судьей может быть только тот, кто сам не является ни угнетателем, ни угнетаемым, руки и деяния которого чисты от грабежа нации, ум которого с юношеских лет не находится в тисках условных форм нашей эпохи, сердце которого преисполнено теплого чувства благоговения перед ценностью и правами человека. Правда, для тебя, рыцаря ордена Золотого Руна, не обладающего никакими иными достоинствами, весьма неудобно, когда в мире вдруг исчезнет уважение к твоему высокому происхождению, твоим титулам и орденам, и ты будешь оцениваться лишь соответственно своим личным достоинствам; но вопрос идет не о твоих несчастьях или благополучиях, а о нашем праве. Ты полагаешь, что не может быть правым то, что делает тебя несчастным. Но оглянись на своих рабов, которых ты до сих пор угнетал. Они кричат: богатый, привилегированный не принадлежит к народу. Он не имеет своей доли во всеобщих правах человека. Это их интересы. Их выводы так же основательны, как и твои, а они полагают, что не может быть несправедливым то, что делает их счастливыми.

Не должны ли мы их выслушать? В таком случае разреши не выслушивать и тебя».

По существу же вопроса о праве на революцию Фихте говорит: «Ни один государственный строй не является неизменным: изменчивость свойственна самой их природе. Плохой строй, который идет вразрез с необходимой конечной целью всех государственных объединений, должен быть изменен; хороший, благоприятствующий этой цели—изменяется сам собой. Если бы в общественном договоре значился бы пункт о неизменности, то это самым резким образом противоречило бы духу человечества. Обещать ничего не изменять в государственном строе—значит не быть человеком и не желать, чтобы и другой был человеком, довольствоваться положением дрессированного животного... Таких обещаний давать нельзя... Человек не вправе отказаться от своей человечности. Такое обещание противоправно и потому ничтожно».

Но, может быть, имперский канцлер думает, что мы сильно преувеличили слова Фихте: ведь каждый год издается множество законов, изменяющих государственный строй. В этом лояльном смысле и рассуждал Фихте, отнюдь не думая потрясать основы государственного строя и трижды священной империи. Но этот безбожный человек действительно утверждал, что изменчивость государственного строя имеет для монархии специфическое, террористическое значение. Он спрашивает, благоприятствовала ли монархия когда-либо культуре, является ли благоприятствование культуре ее конечной целью, и отвечает: «Я добросовестно исследовал и нашел, что вашей целью является исключительное господство вашей воли внутри и расширение ваших границ во вне. Для того, чтобы одна монархия не поглотила бы и не подчинила бы всех и вся, утверждаете вы, необходимо, чтобы существовало множество монархий, достаточно сильных, чтобы поддерживать равновесие; для того же, чтобы они были достаточно сильными, каждый монарх должен обеспечить себе исключительное господство внутри и стремиться время от времени расширить свои границы во вне. Мы же рассуждаем так: это постоянное стремление к возвеличению внутри и во вне является величайшим несчастьем для народов; если они действительно вынуждены переносить его, чтобы избежать еще большего несчастья, то разрешите нам отыскать источник этого большого несчастья и по возможности обезвредить его. Этот источ-

ник мы усматриваем в неограниченном монархическом строе... Вы говорите: так как монархии должны существовать, то человеческий род должен примириться с огромным множеством зол. Мы же отвечаем: так как человеческий род не желает примириться с этим огромным множеством зол, то не должно быть неограниченных монархий. Я знаю, что свои выгоды вы защищаете при помощи постоянных войск, тяжелых орудий, оков и тюремных наказаний, но от этого они не становятся для меня более убедительными». Принявший на себя великую заботу о будущем памятнике Фихте возразит, что у доброго Фихте можно найти элементы поверхностного просветительства, но, как хороший знаток истории, Фихте, конечно, знал, какую пользу монархия принесла человечеству. Он, конечно, знал это, почему и писал: «Если бы не только под сенью ваших политических учреждений, но даже благодаря им, мы бы преуспели в культуре и свободе, то не вам были бы мы этим обязаны, так как это не было вашей целью, а противоречило ей. Вы старались уничтожить в человечестве всякую свободу воли, кроме своей собственной. Мы с вами боролись из-за этой свободы, и если мы стали сильнее в этой борьбе, то этим вам, конечно, не было оказано услуги. Правда, нужно отдать вам справедливость, некоторые наши силы вы намеренно культивировали, но не во имя наших целей, а во имя своих собственных... Вы старались преподавать нам некоторые науки, форма и содержание которых были приспособлены к вашим целям, для того чтобы нами легче было управлять для ваших целей. Вы обучали нас некоторым искусствам, дабы мы могли создавать блеск для вас и ваших орудий угнетения,—блеск, которым вы ослепляете простой народ. Наконец, и в этом вы достигли совершенства, вы научили миллионы людей по мановению поворачиваться направо и налево, смыкаться и размыкаться, и ужасному искусству убивать,—для того, чтобы употреблять их против всех, не желающих признавать вашу волю законом. Таковы, насколько я знаю, ваши сознательные заслуги перед культурой. Вы поступаете, конечно, последовательно, пожалуй, последовательнее, чем это вам самим представляется, ибо инстинкту не впервые приходится правильнее руководить людьми, чем умозаключениям. Если вы хотите править, то раньше всего вам приходится подавить человеческий разум... Все то, что

имеет своей целью восстановить разум в его поправных правах, поставить человечество на ноги и открыть ему глаза, вам представляется глупостью и мерзостью».

«Настоящий социал-демократ»,—воскликнет имперский канцлер и постарается успокаивать себя тем, что социал-демократом Фихте не был, ибо если бы он познакомился с этой партией, с ее пока еще неосуществимыми требованиями, он по достоинству оценил бы эру Бюлова. Но на это Фихте отвечает: «Я могу вам указать, в чем именно заключается центр нашего спора. Вы не хотите окончательно порвать с разумом, но и не желаете отказаться от своего благодетельного друга—от старых привычек. Вы хотите поступать разумно только частично, но отнюдь не всецело. Вы продолжаете утверждать, что наши философские принципы не могут быть осуществлены в жизни, что наши теории, хотя и неопровержимы, но и невыполнимы. Так вы полагаете, но это лишь при том условии, если бы предполагалось, что все должно остаться неизменным. Кто просит вас новыми лоскутками накладывать заплату на старую одежду. Кто отрицал, что машина должна будет остановиться, что появятся лишь новые трещины, а дело не пойдет к улучшению. Мы ли должны страдать за то, что вы делали ошибки. Но вы желаете, чтобы все оставалось прекрасным при старых условиях; отсюда крики о невыполнимости наших принципов. Будьте, по крайней мере, честны, и не говорите, что не можете осуществлять наши принципы, а заявите откровенно, что вы просто не желаете этого».

Да, имперский канцлер оказался в роли патрона Фихте, но Фихте не является патроном имперского канцлера. Послушаем еще мнение известного философа о повышении хлебных пошлин, проектируемом графом Бюловым: «Оно остается законным средством помочь дворянству. Но почему ему нужно помогать. Правовых притязаний дворянство в качестве такового вообще не может предъявлять, так как самое существование его зависит от государства. Почему государство должно согласиться с его требованиями». Далее Фихте рассматривает обратную сторону медали: «Эти люди привыкли к этому, лучшего они не знали»,—говорит сытый сибарит, попивая дорогое вино. Но это не правда: к голоду, к неестественным средствам питания, к потере сил и бодрости, к тому, чтобы ходить голым в холод, люди не привыкают. Считают

чем-то наивным положение: кто не работает, тот не ест. Позвольте нам считать не менее наивным правило: «кто работает, тот не должен есть или должен есть несъедобное».

Довольно... Мы обращаемся только с покорнейшей просьбой к Философскому обществу подтвердить имперскому канцлеру, что мы верно цитировали сочинения Фихте.

О ПРУССКОЙ ЮСТИЦИИ.

Ряд событий последнего времени—приговор по моабитскому процессу, эссенский процесс о клятвopепреступлении, дебаты в рейхстаге по поводу закона о судебных установлениях и вообще все имеющее отношение к этим событиям—вызвал снова всеобщий интерес к вопросу о правосудии в прусско-германском государстве, выдвинув этот вопрос на первый план. Да будет мне позволено рассмотреть его с более широкой, общенсторической точки зрения.

С людьми, которые вообще отрицают существование классовой юстиции, приходится не впервые спорить. Нет более элементарно-логического вывода, что в классовом государстве возможна только классовая юстиция. Меч правосудия относится к тому орудию, от которого господствующие классы никогда не откажутся; раз они существуют, то по историческим условиям своего бытия они от него не могут отказаться. По этому вопросу социал-демократия нисколько не заблуждается; она не требует от классового государства больше того, что оно может дать. Ей всегда были чужды глупые разговоры тех, как однажды выразился Лассаль, «бычачьих голов», которые идолопоклонствовали перед «прусским правосудием», благодаря чему не в малой мере они способствовали тому, что прусская юстиция все более погружалась в болото.

Есть громадная разница между классовой юстицией и классовой юстицией, и исключительный упрек, который направлен по адресу прусской юстиции, выделяющейся из юстиции других государств, состоит в том, что она в общем и целом лишена тех гарантий, которые возможны даже в классовом государстве и которые могли хотя бы отчасти обеспечить элементарное беспристрастие в деле отправления правосудия. Прусская юстиция всегда была составной частью прусской бюрократии,—составной, но подчиненной частью, которая никогда не шла вразрез с интересами господствующей бюро-

кратии, дабы не быть тотчас же призванной к порядку. Для иллюстрации напомним случай, когда король Фридрих пригласил к себе судей, вынесших неблагоприятный для него приговор, чтобы дать прогуляться по их спинам своей суковатой палке, или когда г. Безелер потребовал к себе судью, преподавшего присяжным заседателям неприятное Безелеру правовое поучение. Таким образом все различие между этими двумя случаями сводится к тому, — в этом, очевидно, заключается истинно-пруссский прогресс, — что видимые и ощутимые палочные удары по спине — в первом случае, превратились в невидимые, но еще более ощутимые палочные удары по желудку — во втором.

В XVIII столетии вообще еще не было никакой прусской юстиции, которая хотя бы по видимости заслуживала бы этого имени. Высшие, так называемые юстицколлегии носили название «правительство», куда король Фридрих Вильгельм I сплавлял «глупых чертей», в то время как способные люди из бюрократии размещались в административных органах. Его преемник, именно старый Фриц, провел некоторые «реформы юстиции», но в конечном счете он сохранил устарелую кабинет-юстицию. В зависимости и от настроения он либо угощал судей палочными ударами, либо смещал тех, которые не обнаруживали охоты плясать под его дудку. Несомненно, при его владычестве замечалось то, что мы можем наблюдать в настоящее время, а именно, что судьи, от которых король требует уж что-нибудь слишком двусмысленное, вынуждены оказывать некоторое сопротивление, подобно раздавленному червя, способному еще немного извиваться при новом нажиме. Так было в известном деле Мюллера Арнольда, в котором берлинские судьи проявили своего рода корпоративную солидарность, выразив слабый протест по поводу избения и отправки в крепость их коллег. Также и тогдашние прусские судьи препятствовали в некоторых случаях задуманному королем судебным убийствам: когда король, стоя уже одной ногой у могилы, приказал вынести смертный приговор одному крестьянину, который в состоянии необходимой обороны превысил установленную законом меру, сенат оттягивал дело, поступившее к нему из высшего суда, до кончины короля, благодаря чему несчастный крестьянин был спасен.

Но по существу эти случайные проявления судейской независимости ничего конечно не изменили; равным образом,

как ничего не изменил в сущности в прусской бюрократии королевский кабинетный циркуляр от 20 февраля 1804 г., который гласил: «Публичность является для правительства и подданных вернейшей гарантией против волокиты и злоупотреблений со стороны чиновников, без которой они почувствовали бы себя единовластными вершителями судеб. С уничтожением публичности утрачено было бы важное средство борьбы с нарушением нижестоящими учреждениями своих обязанностей. Поэтому она заслуживает того, чтобы всякими способами ей благоприятствовать и оказывать ей защиту». Подобное лицемерие, запечатленное на бумаге, должно быть объяснимо «дуновением прусского ветра»; невзирая на этот кабинетный циркуляр, судьи отправляли в крепость или смиренный дом «подданных», которые позволяли себе публично порицать «нарушение обязанностей нижестоящими учреждениями».

Также в первой половине XIX столетия независимость прусских судов оставалась пустым звуком. Подчиненность юстиции бюрократии зашла так далеко, что все приговоры по делам о государственной измене, иб измене отечеству, оскорблении величества, а также по преступлениям, влекущим за собой наказание в виде лишения чести, смертной казни или тюремного заключения свыше 3 лет, подлежали утверждению министра.

Йоганн Якоби писал в своих «Четырех вопросах» по поводу домартовской юстиции: «Беспартийность в обыкновенных случаях будет легко соблюдать, но там, где министр или, как они говорят, государство является стороной в деле, тогда эта судейская добродетель должна вступить в резкую коллизию с личным интересами. Вся будущность каждого служащего правосудия находится в зависимости от воли министра, и только безвольная покорность и безусловное соглашение со взглядами, мнениями и желаниями министров даст основание рассчитывать на материальные блага, внешний почет и расположение». В отличие от правосудия позднейших реформ Якоби открыто высказывал, что доверие к прусскому правосудию основывается скорей на вере, чем на убеждении. Он сам должен был расплачиваться за эту веру, когда против него было возбуждено судебное дело за его сочинение, за которое он был приговорен к многолетнему заключению в крепости. Когда в последней инстанции он был

оправдан, председательствующий этого суда, который вынес ему оправдательный приговор—старик Грольман, белый ворон среди прусских судей, должен был также в это уверовать и уйти в отставку; однако новый дисциплинарный закон отдал это и без того бесправное судебское сословие в полновластные руки бюрократии.

Лишь революция 1848 г. положила конец этому безобразному положению вещей. В законе от 6 апреля этого года обещаны «независимость судебского сословия» и отмена тяготевшего над ним «дисциплинарного закона», но как и многие из мартовских обещаний, так же и это осталось на бумаге. Лишь только контрреволюция победила в ноябре 1848 г., она считала одной из первых своих задач снова надеть на шею юстиции ярмо бюрократии. Последовали новые дисциплинарные законы, и юстиция снова стала изнемогать под бременем этих нововведений. Испытав на себе известное влияние революционного духа времени, она тем не менее все же не сумела освободиться от склонности к излишней покорности.

С достойной признательности откровенностью заявил г. фон-Гетц, вице-президент верховного трибунала, в верхней палате, что пережитые правовые потрясения 1848, 1849 и 1850 гг. вызвали сильнейшее замешательство в области юриспруденции, так что потребовался некоторый промежуток времени, чтобы она могла наконец найти нужную ориентацию. Эти идеи достойного светоча прусской юстиции вполне соответствовали положению вещей, но теперь высшая прусская судебная инстанция развивает взгляды, отличающиеся как раз антиреволюционным характером. Прусские суды творили такое же партийное правосудие, как те суды, которые выносили суровые приговоры над «демагогами» двадцатых и тридцатых годов или жестокие приговоры над социал-демократами семидесятых и восьмидесятых годов; однако, что является особенно характерным для политических процессов пятидесятых годов—это тот факт, что жертвой циничнейших приговоров были судьи, которые в революционные годы смели добиваться освобождения от бюрократического бича.

Иоганн Якоби все еще сравнительно мягко выразился о прусской юстиции, когда полагал, что в обыкновенных случаях еще можно допустить наличие беспартийности суда, но тлетворные последствия зависимости юстиции от бюрократии

моментально сказываются, как только интересы «государства», иначе говоря, интересы господствующих классов, вовлекаются в игру. В действительности эта независимость составляет корень зла, и этим объясняется ревность бюрократии не выпускать из рук вожжей, которыми она управляет юстицией. Если она в этом своем усердии иногда переходит границы и в своем неукротимом стремлении старается подавить всякую возможность сопротивления в самом зародыше, вызывая этим действительное противодействие, то надо этому только радоваться, так как она попадает в свои же собственные сети; однако не надо думать, что вследствие этого она уже считает свою игру проигранной, или что она действительно ее проиграла. Она прилагает все усилия к тому—ее поведение в последние недели служит достаточным доказательством—чтобы удерживать юстицию в своих сетях; юстиция же, как подчиненный орган, слишком тесно срослась с бюрократией, чтобы действительно пытаться поднять серьезный бунт в своем собственном лагере. Единственной защитой против чрезвычайной разнузданности классовой юстиции служит прогрессирующее правовое чувство и правовое сознание масс. Они вызывают в нации духовные стремления, от влияния которых не может уклониться также и юстиция. Однако самые близорукие реакционеры начинают жаловаться, что с каждым днем все более и более исчезает доверие к прусской юстиции; таким образом, можно только радостно приветствовать это утешительное явление. Неправильно будет сказать: *Justitia fundamentum regnorum*,—правосудие—основа государств. Так как еще не было государства, основой которого было правосудие. Но вера в правосудие классowego государства несомненно относится к самым крепким скрепам его, и чем основательнее эта вера будет расшатана, тем успешнее пойдет и процесс разрушения и самого фундамента государства.

СОДЕРЖАНИЕ.

	<i>Стр.</i>
Предисловие Я. Розанова	3
Прусская юстиция	11
Si duo faciunt idem	17
О Гражданском уложении	22
Юстиция и политика	26
В защиту священных прав зайца	31
Буржуазно-пролетарское	38
Новый закон о судостроительстве	44
Рейхстаг и правосудие	49
О праве на революцию	53
О прусской юстиции	59

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
107699

29/1 29